

ГОРЯЧО, ГОРЯЧО... ХОЛОДНО...

Повесть

1

После ужина Костя Листопадов объявил родителям, что бросает художку и больше не будет ходить к Вере Антоновне заниматься музыкой. Он постарался придать своему голосу твердость, но, как всегда, из этого ничего не вышло.

Ожидая ответа родителей, Костя досадовал, что снова голос его сорвался от волнения и вместо задуманной весомой, внушительной фразы с губ слетел задиристый и вместе с тем заранее обреченный на поражение мальчишеский лепет.

До этого он уже несколько раз намекал то отцу, то маме, что ни художника, ни музыканта из него не получится, что лишние занятия только отнимают уйму времени, что лучше уж бросить все и посвятить себя одному — фотографии. Но родители или отшучивались, или говорили, что ему еще рано выбирать самому призвание, что в жизни легко ошибиться, что одному богу известно, какое занятие пригодится ему в дальнейшем, и что поэтому лучше не зарекаться и иметь выбор. Отец приводил в пример себя, свои долгие поиски, рассказывал, что, прежде чем стать начальником отдела электронно-вычислительной техники, он перебрал с дюжину всяких профессий: был кладовщиком, учился в железнодорожном техникуме, служил в армии, мечтал играть в театре, работал в телеателье и даже писал заметки в газету. Костя знал жизненный путь отца, как таблицу умножения.

Сколько Костя себя помнил, родители все решали за него сами. Раньше он не обращал особого внимания на такое положение вещей. Теперь же обратил, потому что предстояли еще дополнительные занятия. По английскому языку...

Косте, как всегда в последнюю очередь, сообщили, что к отцу в отдел устроилась переводчица с английского, что она нуждается в деньгах, а он, Костя, нуждается в ней: ведь в этой четверти у него впервые в жизни ожидалась тройка. Конечно же, по английскому.

— Лучшего случая и ждать нечего, — сказала мама за ужином. — Она согласна сама приходиться к нам вечерами. И берет недорого... — Мама взглянула на отца.

Отец кивнул.

— Два часа в неделю, — сообщила мама. — По вторникам и пятницам...

Костя с грустью подумал, что в его графике внешкольных занятий заполнилось еще две клеточки. Итого выходило шесть дней в неделю. Впрочем, почему шесть? По четвергам он должен был два часа лупить по клавишам пианино, чтобы в воскресенье сдавать Вере Антоновне домашнее задание. Так что — семь из семи.

Костя вспомнил, как два с половиной года назад ему так же вот сообщили, что мамина приятельница вышла замуж за преподавателя детской художественной школы, поэтому уж получалось, что ему, Косте, на роду написано научиться рисовать. Минувшим же летом отец, приехав на дачу, сообщил, что куплено пианино и найдена учительница музыки.

«Мать рада!.. — улыбаясь, сказал отец. — Она всю жизнь мечтала научиться... Я знаю! Теперь ты мечту ее осуществишь...»

И вот Косте предстояло осуществить еще одну мечту. Пока он не знал чью именно: отца или мамы.

Но если рисовать ему сначала даже нравилось, и музыкой заниматься тоже, если все это надоело ему только потом, по прошествии какого-то времени, то учиться английскому языку дополнительно к школьной программе ему не хотелось ни сейчас, ни потом. Какое там не хотелось — думать было страшно об этом!

Он знал, что, если попросить родителей отказаться от их новой затеи, они опять отшутятся. Или примут серьезный вид и скажут что-нибудь вроде того, что вот Ломоносов успевал все делать одинаково хорошо, что вообще до революции дворян учили в детстве и стихи писать, и играть на клавинофордах, и языкам разным, что это было нормальным явлением, а никаким не подвигом, как он, Костя, будто бы желает представить. Так что просить было бесполезно.

Тут же за ужином Костя вынул в такое уныние, что потерял всякий интерес к еде. Мама насилу заставила его съесть котлету и выпить чашку чая. Он уже как будто видел эти скучные транскрипции, эти толстые с махрящимися уголками страниц словари, эти дурацкие разграфленные от руки тетрадки для записи новых слов; слышал чужую, малопонятную ему речь, эти свои вымученные переводы, в которых мальчик Пит и девочка Джейн разговаривали на глупом, приторном от переводной вежливости жаргоне...

«Если уж отказываться, то ото всего сразу!» — решил Костя, когда все собрались в большой комнате после ужина. И отказался. А теперь сидел и ждал, как к этому отнесутся родители.

Мама выключила телевизор и села в кресло напротив Кости.

— Может быть, ты и общеобразовательную школу оставишь? Правильно! Зачем?.. Зачем учиться? Становись Митрофанушкой... Или лучше — Обломовым...

В юности мама увлекалась литературой, даже писала стихи. Но теперь ей было не до стихов. Лишь иногда, когда мама шепотом ругалась с отцом в своей комнате и, забываясь, переходила на крик, Костя слышал всегда один и тот же, наверное самый главный, ее упрек: «Молодость мою сгубил и в старости не даешь покоя!..»

Про себя Костя решил, что мамина молодость была загублена в тот злополучный день, когда она вслед за отцом поступила на физико-математический факультет и перестала писать стихи. Математику и физику мама ненавидела, но всю жизнь вместе с отцом работала в его отделе.

«За твоим папенькой глаз да глаз нужен!..» — говорила она, когда они с отцом бывали в ссоре.

Если она имела в виду отцовскую рассеянность, то это было точно.

Вот и сейчас отец, оказалось, просто не слышал, о чем сказал Костя. Его лишь возмутило то, что мама выключила телевизор.

— Вика, что это значит? — спросил он. — Через десять минут будет последняя серия...

Он было вскочил, чтобы включить телевизор, но мама остановила.

— У нас тут первая серия уже началась!.. Ты что, не понял, какое твой сын сделал заявление? Нет, я не знаю!.. Только ты можешь находиться с человеком в одной комнате и напрочь не слышать, о чем он говорит...

— Я устал. В чем дело? — уныло спросил отец.

— Нет, как вам это нравится?! — спросила мама неизвестно кого. — В чем дело... Они соизволили поинтересоваться, в чем же это у нас тут дело!..

В том же духе, с беспрестанными вопросами, с иронией и со злостью в голосе, мама повторила то, что несколько минут назад сказал им обоим Костя.

Отец нахмурился и строго посмотрел сквозь толстые уменьшительные линзы очков на Костю. Отцовская строгость его не пугала, потому что он ей не верил. Костя как-то уже привык, что отец, кроме своей кибернетики, больше ни к чему серьезно не относился.

Это подтвердилось и теперь. Вертикальные морщины на лбу отца дрогнули и разгладились. Лицо его приняло всегдашнее выражение легкого недоумения. Долго и по-настоящему сердиться отец не умел. И сейчас, как показалось Косте, он лишь для порядка, чтобы только маме доказать, что ему не все равно, спросил:

— Что это значит, Константин? Костя решил держаться до конца.

— Буду ходить в школу и заниматься фотографией! — сказал он, глядя отцу в глаза.

— Ты ему фотоаппарат купил! Пожинай плоды!.. — выкрикнула мама и встала из кресла. — Будет по улицам блукать да на кнопку давить... фоторепортерик!..

— Хорошо фотографировать — уже много. Пригодится... — рассудил отец. — Мы никогда не знаем наперед, что нас ожидает в будущем...

И он принялся рассказывать, как искал свое место в жизни.

Мама достала из своего тайника сигареты, прикурила по-женски, неуклюже держа спичку двумя пальцами и оттопырив мизинец.

Костя взглянул на отца, который вряд ли знал, что мама прятала от него сигареты в коробке для ниток и старых пуговиц. Но тот, казалось, уже ничего не замечал вокруг, развивая мысль о поисках своего призвания.

Мама подошла к окну и открыла форточку. Сквозняк надул парусом штору, разметал сигаретный дым по комнате и хлопнул дверью.

Отец загнулся на слове «вычислительная», посмотрел на дверь, потом на маму, на ее руки и только тогда обнаружил непорядок.

— Опять куришь? — рассеянно спросил он.

— Это я-то курю?! — накинулась на него мама. — Один вечно чем-то занят, какими-то мыслями, вечно отсутствует, другой ничего не хочет делать, кроме как плескаться в своих проявителях и орать истошным голосом из туалета, чтобы не включали свет, а то, видите ли, пленку ему засветишь!.. С вами не то что закуришь!.. С вами!.. — Мама стряхнула пепел в спичечный коробок. — Ты лучше скажи этому Митрофанушке свое крепкое отцовское слово!

— Я и говорю! — возмутился отец. — А ты перебиваешь!.. Ты куришь!.. Потом в доме не продохнуть! Прекрати курить!..

— Ладно-ладно, — успокоила его мама и выбросила сигарету в форточку. — Костя, ты понял, что сказал тебе отец?!

— Да!.. — подтвердил отец. — Что я тебе сказал!.. Слушай, — обратился он вдруг к маме, — куда ты окурки швыряешь? Там же люди ходят!

— В общем, так: никаких «не буду»! Со следующей недели начинаешь заниматься английским! Вырастешь — скажешь спасибо! — подытожила мама и включила телевизор.

Костя ушел на кухню и сел на табуретку. За окном уже стемнело. В доме напротив окна светились голубым светом. Из комнаты доносились слова бравой песни: «Пора-пора-норадуеться на своем веку...»

Так он и знал, что церемониться с ним не станут. «Вырастешь — скажешь спасибо!» И все проблемы у них решены.

От обиды Костя почувствовал слабость. Захотелось есть.

Кастрюли на плите наполнены были скучной пищей. Борщ, котлеты...

В их семье было принято считать, что мама хорошо готовит.

Костя открыл холодильник и обежал взглядом полки. «Скумбрия натуральная с добавлением масла». Хотелось чего-нибудь другого, сладкого. Костя выставил на стол литровую банку меда. Пальцы сделались липкими, и пришлось их облизать. Во рту разлилась отдающая воском сладость. Мама на зиму всегда закупала ведро меда на базаре.

Хлеба в хлебнице не оказалось. Костя погрыз ржаной сухарик и поставил мед обратно в холодильник.

— Дай денег, ма... Хлеба куплю, пока магазин открыт. Мелочи не было, и мама сунула Косте десятку.

— Черного полбуханки возьми. Только сохнет зря. Гляди, чтоб не обсчитали!..

Костя сам не знал, зачем захватил фотоаппарат. Он висел в прихожей на вешалке вместе с одеждой. Когда Костя снимал курточку, упала крышка с объектива. Фотоаппарат преданно взглянул стеклянным фиолетовым глазом. Впрочем, Костя редко с ним расставался.

«Я вам прощаю отравление моего брата и убийство его светлости лорда Бекингэма, я вам прощаю смерть бедного Фельтона, я вам прощаю...» — услышал Костя из комнаты.

«Крышку надо пластырем прихватить...» — решил он, выходя на лестничную клетку.

Не выбирая направления, Костя прошагал пару кварталов. Он представил, что удрал из дому, что не надо завтра идти в школу, а после уроков бежать домой за этюдником, чтобы, наспех пообедав, торопиться в художку, что Вера Антоновна осталась где-то далеко-далеко со своим пианино, с гаммами, с метрономом, что растаяла фигура репетитора по английскому... От всего этого стало легко и свободно на душе.

«А почему бы и нет? — подумал Костя в возбуждении. — Удрал и удрал! Удирают же люди...»

Он зашел в телефонную будку и набрал Мишкин номер.

— Это я. Да Костя, Костя... Вечно ты меня не узнаешь! Из дому сорвался. Смылся, удрал, сбежал... Ну! Нет, не из Сибири звоню. Квартал до тебя. Только никому! Слышь? Я говорю — никому! Навсегда, наверное... Навсегда! Бабуся твоя не улеглась? Молится? Я переночую у тебя?.. Ладно. Жди... Да, открой мне, чтоб не звонить...

2

Мишкины родители завербовались на три года где-то на Сахалине или на Курилах, чтобы потом купить кооперативную квартиру и машину. Мишка теперь жил с неграмотной и набожной бабушкой, которую специально перевезли на это время из деревни кормить его, будить и заставлять делать уроки.

«Темная у меня бабка, — говорил он когда-то Косте, — но хитрая, как три лисы. Ни читать, ни писать не умеет. Только деньги может считать. А чует, выучил я уроки или нет. Чует, и все! С уроками у ней не сачканешь. Как это она?» — «У тебя на физиономии написано. Чего там чуют?» — смеялся Костя.

Лицо у Мишки было выразительным. И все благодаря карим глазам, которые выделялись двумя перезрелыми вишнями. Волосы Мишкины были белыми, и брови с ресницами тоже.

«Я альбинос! — хвастался он. — У нас в роду никого блондинов нету. Один я! Альбиносы рождаются из десяти тысяч... Что там!.. Из ста тысяч!.. Так что я — редкость!»

Мишке обязательно хотелось чем-нибудь выделиться. Когда Костя рассказал ему, кто такие дальтоники, он стал считать себя и дальтоником.

«Нет, конечно, я не все цвета не различаю, но многие! Обычные дальтоники только черно-белым все видят, а я — капелюку подкрашенным, как будто газировка, когда сироп не дольют», — слышал Костя недавно, как Мишка заливал девчонкам в классе. «Надо же!» — качали те головами. «А что вы хотите?! У меня папаня дальтоник, маманя дальтоник, бабка вон приехала — тоже дальтоник! Вы у ней самой спросите, если не верите. Все мы дальтоники! Потомственные!» — заливал Мишка, хотя Костя ему с самого начала объяснил, что женщины дальтонизмом не страдают.

Мишка курил на лестнице, когда Костя поднялся к нему на третий этаж.

— Чего долго-то? И налегке... Тоже мне — из дома сорвался с одним фотоаппаратиком! Я уж думал, ты с рюкзаком. Маманя твоя звонила, спрашивала...

— Походил, подумал... Я, знаешь, чего решил?

— Не бойсь, не выдал! Сказал, что в школе разошлись, как в море корабли.

Мишка иногда любил красиво выразиться.

— Я решил, что они меня не любят, — упавшим голосом выговорил Костя.

— Кто? — не понял Мишка.

— Мама с отцом. Я... Понимаешь? Я у них вроде дублера. Или каскадера. В кино видал? Они мечтают, а я осуществлять должен. Размечтались! Вот ты, Мишк, живешь. Да? У тебя голуби. И все! Захотел — погонял. А я? У меня история искусств, живопись, рисунок, гаммы-килограммы... Мой отец Ломоносовым всю жизнь мечтал быть, но уже не будет. Годы, говорит, его ушли. И конечно — теперь я Ломоносовым должен за него становиться! А я — Костя Листопадов. Понимаешь? Я тоже мечтаю! О своем. А они и слышать не хотят.

Мишка нахмурился и согласился:

— Суровая твоя жизнь, Листик. Меня тоже, наверное, не любят. Если б любили, не уехали бы. Курить будешь?

— Я ж не курю! Сколько спрашивать можно?

— Ты теперь вольный! — объяснил Мишка. — Хочешь курить — кури. А так зачем убегать?

Спать легли на одну кровать с провисающей чуть ли не до пола сеткой. «Гамак», — про себя окрестил кровать Костя.

— Мишк, ты кем будешь, когда вырастешь?

— Не решил.

— А я без фотографии помру, наверное.

— Я без всего жить могу, как верблюд без воды, — сказал Мишка и зевнул. — Вот бороду отпустил бы, когда двадцать три года исполнится.

— Почему двадцать три?

— Так... Бороды захотелось... — вяло договорил Мишка и засопел часто и ровно.

Костя перевернулся на другой бок. «Раз, два, три, четыре...»

Он досчитал до сорока пяти, но сна ни в одном глазу не было. То и дело Костя скатывался к Мишке в образовавшуюся под тяжестью вмятину в кровати, снова карабкался на край, потому что Мишка противно дышал в ухо.

На память лезла разная чепуха, вроде того, как мама брала его маленьким с собой на игры и тренировки, когда еще занималась волейболом. Костя вспомнил, что волейболистки, принимая мяч, откатывались спиной на землю и, как пресс-папье, вбирали своими яркими майками с номерами пыль с земляной площадки. Мама всегда играла под номером «семь» и говорила, что семерка — счастливая цифра. И еще тогда не был популярен прием мяча сложенными лодочками ладонями. А волейбольных площадок, застланных досками, в их городе не хватало. Мама, как бы ни уставала на тренировках, по вечерам стирала грязную майку и гладила ее сырой, потому что утром было некогда.

«Раз, два, три, четыре, пять, шесть...»

В этот раз Костя досчитал до восьмидесяти и вспомнил самое первое событие в своей жизни.

А помнил Костя себя с того случая, как потерялся в лесу. Он разглядывал паутинки.

Постелив на поляне поверх травы одеяло, мама с отцом легли загорать и разговаривать. Тогда они были совсем молодыми, студентами, поэтому друг другу еще не наскучили. Отец уже нашупал свою дорогу в жизни, и мама шла за ним следом, забыв про стихи и пока помалкивая о своей загубленной молодости. Кругом существовали цветы и солнце.

А Костя уходил все дальше и глубже в лес, разглядывая свои паутинки. И не было конца его удивлению. Как это? Здесь, в лесу... И для чего нужны эти тонкие, узорные сети? Они напоминали ему кружева на самом красивом мамином платье. Конечно, это не сети, это — кружева. Но кто же он, этот мастер, этот неутомимый умелец?

Костя перебежал на цыпочках от куста к кусту, от дерева к дереву, стараясь подкараулить этого вязальщика. Доходившая до колен трава шекотала холодным дождиком ноги. И никого не было видно.

Иногда тяжелые капли росы сильно оттягивали волоски загадочных плетений. Костя решил, что кружева развешаны для просушки, и стал сдувать серебряную влагу. Ему даже представилось, что этим он кому-то помогает. Кому? Да тому, кто сделал и развесил всю эту красоту. Костя даже стал ожидать, что вот-вот появится кто-то и скажет ему спасибо за помощь. Ведь вон сколько узоров, а он один, ему не успеть, не доглядеть за всеми. И Костя поэтому молодец, что помогает.

Капли осыпались искрящейся пылью, будто крохотная поливалка проезжала мимо. И Костя уже забыл про сказочного умельца и выискивал капли покрупнее. Изредка в серебряном дождике мелькала крохотная черточка радуги, и появлялась она только на солнце. Это-то как раз больше всего занимало Костю.

А лес обступал, лес был со всех сторон, многозвучный и разноцветный. Костя уже не помнил, в какой стороне осталась поляна, где загорали мама с отцом.

Громадная капля улеглась, как в гамаке, оттянув к земле тонкие белые ниточки плетения. Это уже была не капля, а целое море, свернувшееся калачиком, и Костя пожалел его сдувать.

Приблизившись, он обнаружил, что внутри водяного шара спрятался лес: те же, что и вокруг, деревья с мельтешащими чешуйками листьев; рваные пятна неба, сочащегося сквозь кроны; теплые и мягкие, залитые солнцем поляны в ромашках и колокольчиках. Все было маленьким, едва различимым, и почему-то перевернутым. Казалось, что в капле живет, бьется другой мир — с Костей, похожим на мальчика с пальчика из сказки, в белой панаме и коротких штанишках с помочами крест-накрест.

Уже сквозь легкую дрему, слушая Мишкино посапывание, Костя представил, что в той большой капле из его детства находился другой мир, совсем другой. В том мире, наверное, сбывались все мечты и не было загубленной молодости. В том мире его мама по-прежнему писала стихи и умела играть на пианино, а отец был не только хорошим программистом — он был всесторонне, щедро одарен всеми возможными и невозможными умениями и талантами, совсем как Ломоносов. И Костины мечты сбывались в том прекрасном, перевернутом мире. Он был там знаменитым фотохудожником и его снимки печатались в журналах и ревью, брали первые премии на выставках и конкурсах и радовали всех и восхищали. Но главное — в том мире каждый имел свои мечты, имел право мечтать, и он, Костя, тоже. И все мечты сбывались! А тех, кто не мечтал, туда не брали — такой уж это был мир...

Но что-то черное и уродливое тряхнуло паутину. Расплескалась капля, выскользнув из гамака. Мир раскололся, превратился в пыль, и разноцветная черточка радуги мелькнула и тут же исчезла.

Костя отпрянул в испуге, но любопытство заставило его обернуться.

Вдоль готовых вот-вот лопнуть серебряных сплетений носилось мохнатое существо цвета сажи с лоснящимся надутым брюхом. Страшилище остановилось, засучило узловатыми ногами, которых у него было сразу с десяток — волосатых, изломанных острыми углами. Косте почудилось, что это чудовище растет, надувается и готовится прыгнуть на него.

«Ма-а-а!..» — заорал он, но голоса не было.

Он бросился бежать, но ноги не слушались, увязали в чем-то. Костя в ужасе обнаружил, что это паутина опутала их, клейкая, прочная и тугая. И жутко сделалось в душе его от беспомощности. А паутина уже обволакивала руки, грудь, шею, липла к разгоряченному лицу...

Костя проснулся. Оказалось, он снова скатился в углубление кровати и Мишка горячо дышал ему в лицо. Костя скинул с себя безвольную Мишкину руку и выкарабкался на край. Мишка, недовольно причмокнув во сне губами, перевернулся на другой бок.

3

Утром Мишка пошел в школу, а Костя, захватив фотоаппарат, отправился снимать. Избегая людных мест, он забрел в детский парк, который был разбит у слияния двух рек. Когда-то Иван Грозный велел заложить здесь крепость для защиты Москвы с юга. Так образовался их город. Удобное было место. С двух сторон вода — не подступиться, а от поля между реками отгородились наглухо глубоким рвом и крепостным валом. На валу стояли тесно пригнанные друг к другу толстые бревна с заостренными концами. Костя видел макет крепости в городском краеведческом музее. Теперь в память о тех далеких временах посреди парка возвышались три вырезанные из дерева скульптуры древнерусских воинов, тревожно смотрящих вдаль, приставив ко лбу ладонь козырьком. Их деревянные островерхие шлемы как бы вырастали из бревенчатого частокола, а на кончиках копий застыли деревянные флажки. Под высоченными тополями пестрели раскрашенные скамейки. Эстрадная сцена походила на громадную раковину со дна морского. Всюду царилась осень, хотя увядшие листья лишь слегка припорошили узкие асфальтовые дорожки и еще зеленую траву на подстриженных газонах. Осень была в бледном пасмурном небе, тяжело нависшем над городом, в парковой тишине, в серо-рыжей дымной хмари от костров на противоположном берегу реки. Костя давно заметил, что дым осенних костров скучнее и печальнее, чем дым весенних. Запах у них был разный.

Маленький зверинец размещался в самом дальнем от входа углу парка. Многие клетки пустовали, но затхлый и прельный воздух вблизи них выдавал присутствие зверей.

За решеткой одной из клеток Костя заметил живой пепельный комочек. Комочек зашевелился, когда он приблизился, и превратился в худенькую обезьянку с рыжими подпалинами на боках. Обезьянка обхватила пальцами прутья и уставилась на Костю широко раскрытыми темными глазами. Что-то было в ее взгляде, что заставило Костю взвести затвор фотоаппарата. Усталость, слабое любопытство и звериная настороженность глубоко сидели в немигающих глазах. А прутья решетки рассекали глухую черноту клетки.

Где-то Костя видел уже такой кадр. Не совсем, может быть, такой, но схожий по настроению.

В последнее время, освоив технику фотографии: научившись правильно подбирать экспозицию, проявлять пленку и печатать снимки, — Костя уже мог меньше внимания уделять этой ремесленной стороне дела. Вот тут-то и произошла

в нем неожиданная перемена. Он стал опережать самого себя. Прежде чем нажать на кнопку фотоаппарата, Костя ловил в себе ощущение — иначе он не мог это назвать, — именно ощущение, которое вызовет будущий, не сделанный еще снимок. Причем ощущения эти были неожиданны, далеки от того, что находилось перед ним и что он собирался сфотографировать. Костя в одно мгновение учитывал все фотографические приемы, которые мог применить, работая над снимком: всевозможные запечатки, соляризации, изогелии, двойные экспозиции и многократное контротипирование. И еще до спуска затвора снимок рождался в его воображении. Костя как бы видел будущее, видел в окуляр взведенного фотоаппарата.

Впрочем, так бывало редко. Чаще он ничего не видел, кроме того, что было на самом деле. Поэтому эти пророческие видения Костя приписывал разгоряченному воображению, сильному своему желанию получить именно такой снимок, именно такой эффект от него.

Но когда это все-таки случалось, Косте казалось, что где-то — без него, за каким-то неведомым порогом — существуют все будущие его снимки и ему самому лишь предстоит открыть их, сделать, донести до людей. Воображение его на мгновение каким-то образом проникало за этот таинственный порог, за невидимую черту, отделяющую настоящее от будущего. Короткие видения будущего жили в нем, светили, как маяк, его душе и указывали ей верное направление. И Костя шел, стараясь не сбиться, не свернуть, не увлечься пустым и ложным. Но пока редко ему удавалось пройти свой путь без потерь. Поэтому и удачи его в фотографии были редки.

Вот и сейчас, наводя на резкость, Костя представлял уже не просто клетку и в ней обезьянку. Он на мгновение почувствовал невольничью тоску по свободе, словно сам очутился по ту сторону решетки и словно весь мир и для него уже был рассечен железными прутьями. Костя подумал, что непременно надо сохранить эту черноту фона за спиной обезьянки и надо, чтобы прутья тоже стали черными... Но как сделать, чтобы черное выделялось на черном? В каком-то журнале он видел черную кошку, снятую на фоне глыбы антрацита. Как это? Все это мигом пронеслось перед ним, и он нажал на кнопку, взвел затвор и еще нажал.

Оба раза обезьянка моргнула от щелчка. Она по-прежнему сидела неподвижно, лишь иногда по ее телу пробегала легкая дрожь.

Косте вдруг захотелось выпустить ее, чтобы поглядеть, куда пойдет она на воле и вообще что будет делать. Но на двери клетки висел замок.

— Холодно тебе? — спросил Костя. — Или страшно?

Кроны тополей, еще густые и сильные, закрывали небо. Костя испугался, что у него могла случиться недодержка, и наскоро переснял кадры, увеличив выдержку.

— Я сейчас! — догадался он и побежал к выходу.

В овощном ларьке Косте разменяли десятку и отвесили килограмм яблок. Он спустился по заросшему старым хищным релейником берегу к воде, вымыл яблоки и сложил их назад в раскисающий бумажный пакет.

Обезьянка выхватила цепкими пальцами яблоко у него из руки, потянулась за вторым. Костя просунул пакет между прутьями и положил его на грязный пол.

А желтые зубы вгрызлись уже в сочную мякоть. Обезьянка уселась на кучу травы в сумрачной глубине клетки и ела сразу два яблока, откусывая то от одного, то от другого.

Глаза ее мерцали.

Костя пододвинул пакет дальше по вонючим доскам пола.

— Забывчивые у тебя хозяева, — сказал он, оглядевшись. Скоро обезьянка наелась и принялась катать оставшиеся яблоки по клетке.

— Не повалешь — не поешь? — попытался Костя продолжить общение.

Вдруг обезьянка замахнулась и швырнула в него яблоко. Оно разбилось о решетку, и сок, словно прутья были раскаленными, пополз по ним пенящейся струйкой.

— Ну и свинья... И обезьяна ж ты! — крикнул Костя, отскочив на безопасное расстояние и вытирая ладонью обрызганное лицо.

Второе яблоко не долетело метра два и подкатилось к Костиным ногам по плотно утопанной земле.

Костя отвернулся и медленно побрел из парка. Ему стало грустно от всего происшедшего. И в поведении обезьянки, и в его побеге из дома был какой-то схожий мотив. Костя все пытался поймать это сходство, но оно ускользало. Он лишь ясно ощутил в себе тревогу, которая занозила душу с того момента, как Мишка сообщил ему о мамином звонке. Правда, весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро тревогу эту подмяла, утопила своей тяжестью обида на маму и отца. Но теперь груз обиды почему-то уж и не так давил и тревога всплыла. Костя мысленно перечислил все упреки в адрес родителей, но от этого не полегчало. Как они там? С ног, наверное, сбились... И чем, в конце концов, сам он лучше этой неблагодарной обезьяны? Впрочем, это совсем не так... При чем тут обезьяна? Просто ему сделали больно, так больно, что уже стало невыносимо, и он убежал. И пусть теперь больно будет им. Не все же ему! Пусть, пусть...

4

По отвесному мостику он перешел речку и поднялся к кинотеатру «Победа». Кассирша в атласных черных нарукавниках, зевая, отворила свое окошечко в форме бойницы, проштамповала билет и сунула его Косте.

До начала сеанса оставалось с полчаса. Костя пошел пострелять в тир, который размещался тут же за кинотеатром в старом, на спущенных колесах автобуса со слепыми, забранными жестью окнами.

Костя любил этот тир. И не потому, что мишени в нем были какие-нибудь особенные, — те же зайцы и волки в футболках с «Ну, погоди!»; те же гуси, утки, куропатки, переворачивающиеся кверху лапами от точного попадания; те же труженики медведи, распиливающие вот уже несколько лет сряду одно и то же плоское рисованное бревно; те же самолетники с бомбочками и без бомбочек, с капсюлями вместо винтов, пикирующие по стальным струнам; те же рыбаки, подсекающие зубастых акул, и пузатые в облупленных цилиндрах на плешивых макушках буржуи, с которых,

если попасть точно, спадают полосатые штаны. Без штанов и в цилиндрах буржуи становились похожими на беспризорников. Все в этом тире было бы, как в других, если б не одноногий дядька, которого все звали Никитичем, еще не старый, разговорчивый и обходительный. У Никитича можно было стрелять с руки и с упора, на спор и просто так, куда попадешь. Костя раз видел, как один мальчишка пришел со своим яблоком и стрелял в него, стоя к нему спиной и целясь глядя в маленькое круглое зеркальце. Никитич и такое позволял в своем тире.

— Фотографируете? — вежливо поинтересовался Никитич, отсыпая дрожащей рукой свинцовые наперсточки пулек.

— Мишень можно настоящую повесить? — спросил Костя. Никитич достал из-под стойки бумажную мишень и заковывал к задней стене автобуса, боком занося скрипучий протез.

— Подымите винтовочку, — привычно попросил он, обернувшись на ходу. — Я слышал, есть такие фоторужья. Что же это? Тоже стреляют? Не приходилось обращаться?

Костя сказал, что не приходилось, но принцип действия объяснить может.

— Будьте любезны, — попросил Никитич, вернувшись к стойке. — Я, видите ли, почему интересуюсь? Может, думаю, замена какая предстоит в плане инвентаря? Вместо моих воздушшек какие фоторужья пришлют. Это не с оптическим ли прицелом?

Костя объяснил, что фоторужье — это тот же фотоаппарат, только с длиннофокусным объективом. У него еще есть плечевой упор в виде приклада, чтобы избежать смазки изображения. Ведь с длиннофокусным объективом труднее удержать фотоаппарат неподвижно. А тут приклад... А фоторужьем называется, потому что в основном применяют для съемки птиц и зверей.

— Я, знаете ли, уже слышал об этом, — стеснительно улыбнулся Никитич. — Простите, бога ради! Да сидишь тут, сидишь один... До вечера... Не дома ж, в самом деле! Дома пусто... А поговорить хочется. Вот и поговорили. Стреляйте, стреляйте. Вы думаете, я всю жизнь тут сижу? В сарае своем? — развел Никитич руками. — Раньше-то я в другом месте служил. Бухгалтерствовал в одной конторе. А тут вроде как на понижении...

Костя переломил ствол и загнал пульку в узенькое черное отверстие, прицелился. Мишень то расплывалась, если Костя смотрел на мушку, то становилась резкой. Мишень всегда напоминала ему расходящиеся по воде круги.

Косте хотелось сфотографировать Никитича, но попросить он стеснялся. Ему почему-то казалось, что это может обидеть его. Да и всякий раз, попадая в этот тир, Костя сразу вспоминал, что у Никитича нет ноги, и помнил об этом до тех пор, пока не уходил. Он даже разговаривать старался меньше, чтобы неосторожным словом не сделать Никитичу больно, напомнив о его увечье.

Впрочем, пока стрелял, Костя думал о другом. Вот ведь живет человек без ноги, и наверняка часто ему делают больно уже тем, что напоминают об этом. Да и просто тяжело не иметь того, что есть у других, такого естественного и необходимого, о чем здоровый человек и не задумывается никогда. А больному все горько. Так, наверное, и Никитичу. Но что же это он добрый такой? Вот что вдруг удивило Костю. Ему бы, Никитичу-то, вроде и ожесточиться бы в самый раз, и возненавидеть всех здоровых да сильных за свою убогость, а он наоборот — как будто очень даже любит всех, и на всех у него любви и добра хватает.

Выстрелы оглушали в тесном пространстве автобуса, но короткое резкое эхо тут же и гасло, вырываясь в открытую дверь.

— Берите под яблочко, — вяло посоветовал Никитич и размял папиросу. — Знаете, сидишь тут, смотришь. Всякого народу за день наглядисься. В основном-то мальчишки. Бывают и в возрасте мужчины. Это опять же на любителя. Да-а-а... Всякие ходят. Вы вот фотографируете...

Две пульки вошли в «десятку», остальные рассыпались по черно-белому полю мишени.

Никитич протянул Косте принесенную мишень:

— Возьмите на память. А я, знаете ли, не любитель стрелять. Так как-то... Баловство это. Вон и ноги лишился через это баловство. После войны, мальчишкой. Вы заходите...

Костя попрощался.

На улице моросил холодный мелкий дождь. Мальчишка был меньше Кости ростом, худой и какой-то дерганый. Серый в крапинку картуз с протертым козырьком держался на его оттопыренных посиневших ушах. Костя сообразил, что картуз мальчишка носит для солидности, и улыбнулся, потому что солидностью тут, пожалуй, и не пахло. Эффект получался как раз обратный.

— Дай пятнадцать копеек, — сказал ему мальчишка.

— Тебе зачем? — спросил Костя.

Мальчишка как-то странно дернулся, оглянулся и поправил свалившийся на глаза картуз.

— Дашь? Нет? А то по молде схлопочешь! — неожиданно развязно прогундосил он и снова оглянулся.

— Нету! — соврал Костя.

Он, может быть, и дал бы, наверняка бы дал, если б только не так просили.

— Если обещу? — не совсем уверенно спросил мальчишка.

— Поплобуй, — передразнил его Костя.

Он сдвинул фотоаппарат на бок и сжал кулаки.

Еще раз оглянувшись и поправив картуз, мальчишка осторожно потянулся к карманам Костиной курточки.

Удар пришелся в бок, но мальчишка, отскочив, завизжал так, словно на ногу ему уронили трамвайный рельс.

— Лебя-я-я! — позвал он пронзительно и плаксиво.

Откуда ни возьмись, появились трое парней. Все старше Кости. В зубах у одного дымилась гармошка папиросы. «Здоровые!» — успел подумать Костя.

— Младших, значить, забижаем? — ткнул Костю кулаком в плечо патлатый парень, и на его запястье коротко звякнула цепочка. — А еще небось пионер-другим-пример!

— Гони валюту! — прорычал страшным голосом самый высокий и выплюнул папиросу.

Ему, наверное, хотелось не только напугать Костю, но и самому поверить, что он очень страшный и беспощадный. На несколько мгновений это ему удалось. Костя бессознательно попятился, но ощутил сильный толчок в спину.

— Куда?! — отрезал ему путь к отступлению третий парень.

— У меня только на биле-е-ет было... — жалким, противным самому себе голосом промямлил Костя, чувствуя слабость внизу живота.

— Карманы выверни! — приказал патлатый.

— Пускай поплывгает, услышим! — прогундосил мальчишка в картузе и шмыгнул носом в восторге от своей выдумки.

Костя почувствовал, как все в нем сжалось от бессилия и обиды. Но не плакать же, в самом деле! И Костя как-то особенно остро ощутил несправедливость и дикость происходящего. Это неожиданно разозлило его и придало сил.

— Пошли вы!.. — толкнул Костя патлатого.

Тот взмахнул руками и, не удержав равновесия, рухнул на асфальт. Костя перешагнул было через него. Но сзади рванули курточку. Она затрещала. Голову кинуло вбок. Костя почувствовал, что нижняя губа деревенеет, и закрыл лицо руками.

— Под дых ему, Серый! — кричал, поднимаясь, патлатый. — Дай, дай я!..

Удары сыпались со всех сторон. Костя, загоразиваясь руками, прижался к толстому стволу рябины и стал медленно опускаться на корточки. Били уже молча.

— Шпана! Убьете человека!..

— Атаас, лебя! — крикнул мальчишка в картузе.

Костя огнял руки от лица и обернулся. Никитич, неуклюже занося протез и размахивая палкой, ковылял, переваливаясь из стороны в сторону, от своего автобуса.

Топот убегающих парней смолк за углом кинотеатра.

— А вы тоже хороши, голубчик! — не справляясь с дыханием, прерывисто проговорил Никитич и помог Косте встать. — Хоть бы крикнули, что караул и на помощь. А меня как толкнуло что. Глядь, недоброе дело творится! Покажите-кась, как они вас...

Костя потрогал вздувшуюся губу. Во рту навязла солоноватая тягучая слюна. Костя сплюнул. Коричневый сгусток расплзся на сыром асфальте жутковатым узором.

— До свадьбы заживет, — успокоил Никитич и заковылял к автобусу. — Пошли примочим. Да как же это они вас?

Фотоаппарат был цел. Костя взвел затвор и щелкнул разок для проверки. Все работало нормально.

— Аппаратуру повредили? — спросил Никитич, нахмурившись.

— Ничефо...

Только тут Костя обнаружил, что нижняя губа плохо повинуется ему.

В автобусе Никитич достал из-под стойки зеленый чайник с облупившейся эмалью по бокам, смочил водой из него Костин платок.

— Подержите, чтоб совсем не разнесло. И за что они вас?

— Фустяки... — скривившись от боли, проговорил Костя, сообразив, что не выговаривает еще один звук.

Жидкость, которой был пропитан платок, сильно жгла рану, и Костя понял, что в чайнике была не вода, а водка.

Никитич с чем-то возился под своей стойкой, но, заметив Костино удивление, стал вдруг оправдываться:

— Да я ее и не пью, окаянную. Мужики за стаканом заходят и нет-нет поднесут. Так нешто я буду пить?.. Я вон приладил ее в чайник сливать. Вы подержите, подержите... А мы болячку-то вашу стрептоцидиком сейчас!

Он достал что-то в бумажке, развернул, и Костя увидел щепотку белого порошка в ней. Пришлось выпятить губу, чтобы Никитичу удобнее было присыпать рану. Стрептоцид оказался безвкусным, а не горьким, как ожидал и боялся Костя.

— Больно? — спросил Никитич, закончив обрабатывать рану.

— Кафельку... — силясь улыбнуться, промямлил Костя.

— А вы потерпите! — посоветовал Никитич простодушно. — Я, когда больно, всегда терплю. Оно ведь, думаю, не все же время так. Будет и облегчение.

Косте жалко стало Никитича. Что-то было беззащитное в его смущении из-за водки в чайнике и в этом его «всегда терплю». Но в то же время и Косте только терпеть и можно было в его теперешнем положении, и это очень хорошо, что рядом оказался застенчивый Никитич, а не кто-либо другой. Что-то в этом во всем было такое, что Костя не мог объяснить себе, в этой взаимной жалости, которой он, может быть, постеснялся бы перед любым другим человеком, а вот перед Никитичем не постеснялся. Косте так захотелось отблагодарить чем-нибудь Никитича, что-нибудь сделать для него или просто сказать ему что-то хорошее, доброе! Он даже заплакал от невыносимости этого желания.

— Сфасибо!.. Сфасибо вам!.. — только и смог пролепетать он сквозь слезы.

— Ну и поплачьте, поплачьте, — согласился Никитич. — А потом терпите. Оно ведь и обидно, если четверо на одного.

— До свидания! — выдал Костя и встал уходить, не в силах больше сдерживать подступившие новые слезы.

Он выскочил из автобуса и быстро побежал прочь, за кинотеатр, через улицу Ленина, вниз, к старому мосту через Орлик. На бегу он все же обернулся. Никитич стоял в дверях и смотрел ему вслед.

5

Костя шел под скудным осенним дождем и думал о Никитиче, о бескорыстной и терпеливой его доброте, о том, что это вообще такое — добро, почему оно и откуда в человеке?

Костя не любил драться. Он вообще не мог ударить по лицу. Ведь вот и это, думал он теперь, не случайно, эта невозможность ударить, это, наверное, и есть добро. А когда пересилишь, когда перешагнешь в себе это, тогда,

наверное, зло.

Костя вспомнил своего отца. Он тоже, должно быть, не мог ударить человека. Но главное — почему-то очень стеснялся во всем этом признаться.

— Я однажды тоже подрался, — всякий раз смеялся над собой отец. — Ты мать расспроси. За нее и подрался...

Маму можно было и не расспрашивать. Эта драка, если ее и можно было так назвать, была чем-то вроде их семейного предания. Отец любил для смеху напомнить о ней, но сам рассказывать не брался. Зато уж мама давала волю красноречию.

— Ты дрался? За меня?.. — в очередной раз неподдельно изумлялась мама, вспоминая тот случай. — Это не тогда ли на танцах? Погоди, — всячески оттягивала она. — Ну да! Конечно! Помню, помню... Еще ручки у моей сумочки оборвались. Как же!..

И дальше мама рассказывала о далеких студенческих своих годах, о том, какой восторженной дурой она тогда была и как отец казался ей сказочным принцем, об институтском вечере, о парне с другого факультета, который пригласил ее танцевать, и как она пошла с ним, а парню понравилось и он снова ее пригласил... Только это сильно не понравилось отцу, который тоже был на том вечере, и к тому же они с мамой собирались пожениться. Отец отозвал маминую ухажера и что-то шепнул ему на ухо. После этого оба они сразу куда-то ушли.

Здесь мама всегда делала интригующую паузу, потому что дальше начиналось самое интересное.

— Нашла я их, голубчиков, на улице, — продолжала она. — Стоят себе, воркуют. Меня, конечно, не замечают. А папочка твой все очки поправляет. На нос их пальцем толкает. Я ближе подобралась. И что слышу? «Ты только ударь меня! — папочка твой хорохорится. — Ударь! А то я не могу... Никогда не приходилось. Первым не умею...» Ну, думаю, сам тумак просит! На это только один человек в мире и способен. «Ты начни! — умоляет твой папочка дядю того. — А уж я это... Я тоже тогда». Дядя уже со смеху покатывается. Оно и понятно! Да и, не будь дурак, как двинет твоему папе. Тоже небось для смеху двинул-то, поглядеть, что из этого выйдет. Я бы сама, пожалуй, не удержалась, если б так упрасивали. Ну, а вышло-то из этого вот что. Папочка твой опустился на карачки и давай по траве руками шарить. Очки, стало быть, искать. Дядя ему не только нос набок, но и очки оземь. Гляжу, и дядя засовестился, тоже подключился. Ползают вдвоем по травке в скверике, ищут, мирно так переговариваются, а со стороны — как будто пасутся. Дело-то было к ночи. Тут уж я подлетела и о дядю того всю сумку обтрепала. И в хвост его и в гриву. Так-то папочка твой за меня сразился разок. Сумку-то выбросить пришлось.

Напоследок отец делал привычное дополнение к этой истории:

— Между прочим, если б ты тогда не налетела, мои очки остались бы целыми. А так ты их потоптала только до неузнаваемости.

Свою нелюбовь к дракам Костя объяснял этим бременем миролюбивой наследственности и втайне часто завидовал своему другу Мишке.

Тот тоже никогда первым не бил. Только если уж его трогали, он становился красным, как трамвай, страшным голосом кричал что-то непонятное и чесал кулаками направо и налево, без разбора. Костя сам видел, как Мишка подрался с одним десятиклассником в школьном туалете. Даже учитель физкультуры Юрий Львович с трудом остановил и утихомирил его, а десятиклассника отвели в медпункт.

Костя машинально зашел в телефонную будку и набрал номер Мишкиного телефона.

— Кто ет? — певучим голосом спросила Мишкина бабуся.

— Мишу можно?

— Он у школе. Скоро приди. Я ему и оладушков замесила... Костя извинился и повесил трубку.

Можно было позвонить Кузнечнику — так Костя любил называть Марину Кузнецову, — но она, как и Мишка, наверняка торчала еще в школе.

Губа раздулась, и очень хотелось посмотреть на нее в зеркало. Костя даже подумал, что неплохо бы сделать свой автопортрет с разбитой губой.

В художке они совсем недавно проходили по истории искусств импрессионистов. И Косте особенно запомнился автопортрет Ван Гога, тот, где он с перевязанным ухом. Преподаватель сказал, что художник сам отрезал себе ухо. Костя плохо понял, зачем он это сделал, то есть взял и отрезал. Но что-то ведь было такое, и преподаватель говорил, что было. Даже не сумасшествие, а какой-то протест. Но когда Костя смотрел на репродукцию автопортрета Ван Гога, ему почему-то думалось не о протесте, не о сумасшествии. Перед ним был человек, пусть похожий на многих других, обыкновенных людей, с дымящейся трубкой в зубах, в жалкой шапчонке-ушанке, в мешковатом пальто с приподнятым воротником, но это был художник, необыкновенный, со своей, только своей болью и одиночеством в глазах, с трагедией невозможности исчерпать и эту свою боль, и это одиночество.

Но тут же его взяли сомнения: удастся ли ему это, как удалось Ван Гог? Вообще под силу ли такое фотографии?

Костя вспомнил, что еще летом на даче всего-то у него было два снимка, в достоинствах которых он не сомневался. Впрочем, опять же: что значит «не сомневался»? Сомневался и в них, только реже, чем в других. Обе эти фотографии Костины кому-то нравились, кому-то не нравились.

Одну Костя сделал у бабушки в деревне и назвал «Весна». К распускающейся ветви тополя привязана была длинная жердь со скворечней. Солнце сияло на глубоком темном небе, ослепительно раскинув усы лучей. И ни облачка не видать, только рыхлой белой бороздой, похожей на след от плуга, легла через небо полоса, оставленная реактивным самолетом.

И столько счастья было в этой фотографии, что, глядя на нее, люди улыбались, но не открыто, а как-то сами себе, едва уловимо, почти стыдливо. Словно каждый, смотрящий на это солнце, на усы-лучи, на ветку тополя и скворечню, вспоминал что-то уж совсем свое, давно прошедшее и вдруг щемяще и знакомо представшее перед глазами. Костя замечал такое выражение на лицах взрослых, нечаянно вспомнивших что-то, наверное, счастливое из своего детства.

На другом снимке, сделанном уже на даче, изображена была девочка. Она сидела на веранде, заросшей плющом, и смотрела прямо в объектив. Одна сторона ее лица выхватывалась отраженным обтекающим светом, вторая же тонула,

растворялась в густом мраке веранды. Глаза ее были веселы и лукавы. Девочка улыбалась.

Это была Марина Кузнецова. Костя познакомился с ней тем же летом. Дачи их оказались по соседству.

Фотография Марины почему-то меньше других привлекала внимание Костиных зрителей. Но Костя упорно считал ее лучшей. Может быть, потому, что сама Марина ему нравилась?

Костя сплюнул на тротуар.

С моста было видно, как вдоль берега медленно и плавно скользили по воде листья. Старуха с кривоногой приземистой таксой на поводке ковыляла по сырой тропинке, припорошенной кленовыми листьями. Сиреневая шляпка старухи была старомодна, таких теперь никто не носил. И в этом было что-то грустное и жалкое, как и в том, что непонятно было, кто с кем гуляет по угрюмому осунувшемуся дню: то ли старуха с таксой, то ли такса со старухой... И на душе у Кости сделалось еще тревожнее и тяжелее. Тучи обложили город. И эта ветхая, размеренная старость выглядела одинокой и незащищенной.

— Я придумал, Листик! — встретил его во дворе Мишка возбужденным криком. — Пока классная у меня будет, ты на чердаке отсидишься. Можешь голубей моих погонять. Что с губой?

— После расскажу. Зеркальце вынеси. В школе из-за меня сильно шумели?

— Так... — отмахнулся Мишка. — Не очень. Можно было бы и погромче — все же человек из дому сбежал!

— А классная что? — спросил Костя.

— Да-а... — сказал Мишка неохотно. — Подошла на перемене и так издалека начала: «Что это, Миша, ты сегодня рассеянный?» Я ей говорю: «Переспал, Зоя Александровна. Знаете, когда переспышь, мысли не собрать, разбегаются...» Ну, она видит, что я от темы отвлекаюсь, и прямо в лоб спрашивает: «А где, не знаешь ли, Костя Листопадов?» Чуешь, Листик, не просто интересуется, почему ты в школу не пришел, а выведывает. Хитрая! Но не на того нарвалась! — Мишка гордо взглянул на Костю. — «Заболел, — говорю, — наверное...» Тут она как-то сразу скисла. «Ладно, ладно, — говорит, — иди на урок...» А потом и вовсе сдалась. Вернула меня, в глаза уставилась и спрашивает: «Ты не обманываешь?» Понял! Только я и тут виду не показал. «Как-нибудь, — говорю, — Зоя Александровна, без вранья обойдусь с вами. Это бабке моей врать можно. Она в бога верит, — значит, и во враки мои поверить может. А вам никак не соврать: догадаетесь. Раз вы в бога не верите, значит, вы недоверчивая. Вам лучше правду говорить...» Лихо я ей?!

— Вечно ты язык распустишь! — подсадовал Костя. — А она что?

— Лекцию прочла про то, что надо быть честным со всеми и во всем, а обманывать — нехорошо. Только это я и без нее знаю. А друзей выдавать хорошо? Да не бойся, — успокоил Мишка. — Это я уже про себя подумал, пока ее лекцию слушал. Вслух не спросил. А она, когда кончила про честность, так сразу и говорит: «Что это я давно к тебе в гости не приходила? Слушаешься бабушку? Вот загляну, проверю...» Так что лезь, Листик, на чердак и ни гу-гу!

— Ты чего сегодня вроде странный какой-то? — спросил Костя, заметив, что Мишка то и дело беспричинно улыбается.

Мишка похлопал по карману своей куртки и похвастался:

— Письмо маманя прислала! Скоро вернется! Насовсем!

Костя промолчал. Ему страшно не хотелось лезть на чердак, не хотелось гонять Мишкиных голубей и ждать, когда можно будет спуститься, согреться и поесть. Мишкина веселость его раздражала. «Все-то он доволен... И мало-то ему надо для счастья...» — мелькнула вдруг у Кости злая мыслишка, когда они поднимались по лестнице. Но тут же ему стало стыдно. «Мишка-то чем виноват?» — подумал он в смущении.

Костя давно заметил, что с Мишкой ему легко. Может быть, не всегда интересно, не все Мишка понимал из того, что волновало Костю, чем он мучился, но всегда было легко. И в радости, и в горе Мишка был с ним рядом. Никогда не бросил, не предал. И Костя даже не замечал порой его присутствия, точнее, замечать-то он замечал, но оно не тяготило его. Мишка был так же необходим, как воздух, которым дышишь и о котором не всегда помнишь. По-настоящему Костя понимал цену Мишкиной дружбы в разлуке с ним. Например, летом, когда Костю увозили на дачу, а Мишка оставался в городе, потому что не мог бросить без присмотра своих голубей. Вот там-то, на даче, Косте очень его не хватало, этого всем довольного Мишки.

— Ладно, Мишк... Вынеси чего-нибудь потеплее, а то дуба тут дашь от холода, на твоей голубятне. Куртка у меня порвана...

Мишка, ни слова не говоря, сгонял домой, притащил старое свое зимнее пальто и оставил Костю одного.

Голубей было восемь, и признавали они только Мишку. Костя знал это, поэтому сел на корточки поодаль и стал наблюдать со стороны. Казалось, голуби не замечали его и занимались своими птичьими делами, но стоило Косте лишь двинуться порезче, как вихрь перьев, точно из распоротой подушки, взмывал и тучей повисал в воздухе. Голуби были начеку.

«Кошки натренировали», — решил про себя Костя.

По чердаку гуляли сквозняки, сипело в щелях, и отовсюду что-то шуршало и скреблось, заставляя Костю то и дело вздрагивать и оглядываться в тревоге. Стягивало плечи Мишкино пальто. Его рукава едва спускались Косте ниже локтей. Зато воротник был высоким, только вонял сухой пылью.

Косте надоели пугливые Мишкины голуби, и он, раздвигая влажное белье, прошел по досочному настилу на другой конец чердака к окошечку в виде шалаша. Похрустывал шлак, попадаясь под ноги. Дикие голуби шархались от Кости.

Клювы у диких голубей были длиннее, чем у Мишкиных. Мишка рассказывал, что иногда на базаре продают диких, а говорят, что они породистые. Для этого предварительно им заклеивают дырочки в клюве хлебным мякишем. Кончик подгнивает и отваливается. Неси да продавай несмышленишам. Мишка считался опытным голубятником, и провести его на хлебном мякише, конечно, не могли.

С высоты просматривалась вся улица, уходящая в далекую перспективу. Костя нашел школу, которая показалась ему маленькой и неказистой, а за ней виднелась рыжая от ржавчины крыша родного дома, такая теперь далекая, недоступная для него крыша.

Все полонила серая краска пасмурного дня. Желтые липы по тротуарам и те как-то посерели и почти сливались с подсыхающим асфальтом. Костя старался разглядеть Зою Александровну, классную руководительницу, но издали было не разобрать.

И всюду были эти голуби. Они, воркуя, прогуливались по шершавому шиферу, что-то искали, клевали, колготились, толкали друг друга, взмахивали крыльями, нехотя снимались с крыши и, сделав небольшой круг над Мишкиным двором, тяжело и шумно опускались на карнизы.

Костя подумал о том, как обучают почтовых голубей. Он почему-то решил, что для этого по меньшей мере самому надо уметь летать, чтобы показывать им дорогу. Да еще туда и обратно...

— А ну слазь с чердака! Белье воруеть?!

Женщина в фуфайке и с цинковым тазом в руках стояла подбоченясь и улыбалась, глядя на Костю. Лицо ее было освещено нижним светом и выглядело коварным и зловещим.

— Я никогда не ворую, — вымолвил Костя, чувствуя, как медленно проходит оцепенение после неожиданного окрика.

— Зачем же на крышу приполз? — уже мирно спросила женщина.

— Голубей смотрю.

— Хватит с нас Мишки-голубятника! — с неожиданным раздражением в голосе сказала женщина. — С потолка побелка сыплется!

— Да я один раз и прошелся-то... На цыпочках... По доскам... — стал оправдываться Костя. Для него уйти сейчас с чердака значило нарваться на Зою Александровну.

— Давай-давай отсюда, — беззлобно, больше уже для порядка, проворчала женщина и принялась развешивать мокрое белье из таза. — Нечего по чужим чердакам бегать! Ишь, взяли моду!

— Не ругайтесь. Я у Мишки вроде как опыт перенимаю, — соврал Костя.

— Тоже небось соседям жизни от тебя нету? Ладно бы курей держали, а то птичек. Наш-то верхолаз где?

— Корм готовит, — вконец заврался Костя.

— Чего-о-о? Кормить их! Их крылья кормят, — рассудила женщина.

— Чтоб порода была.

— Вот еще! Лошадей нашел... Порода! Носитесь как угорелые, нет — делом заняться. По-ро-да! Свистуны. Глазу за вами родительского нету. Мишкины-то вон укатили, а с бабки какой спрос? Вот он и бегаёт тут, белье мне марает! Ох, разгоню я его как-нибудь с голубьями-то. Разгоню! Только перья полетят!

Женщина с пустым тазом под мышкой окинула развешанное белье пристальным взглядом, недоверчиво посмотрела на Костю и спустилась в люк.

— Так и передай дружку своему! — донесся ее голос из люка. — Разгоню!

Снова Костя остался один. Мирно ворковали голуби вокруг. Мишка появился, когда начало темнеть.

— Слезай, Листик! — торжественно сказал он, остановившись над люком. — Еле-еле дождался! Вломилась, углы обнюхала, с бабкой побеседовала. Но куда нашей Зоюшке с моей бабкой общий язык найти? Она для этого сильно образованная, Зоюшка-то. У ней все «спасибо», «будьте любезны», «пожалуйста», «если вас не затруднит»... Моя бабка за этой вежливостью забывает, о чем ее спрашивают. Тоже начинает любезничать да в спасибых рассыпаться. Умора!

— Мишк, как почтовых голубей дрессируют? — спросил Костя.

— Просто. Только голуби тебе не собаки. Их обучают! Относят от дома, где они освоились. Из клетки, значит, выпускают. Голубки — птички преданные. Назад дорожку сами чувят. Летят, милые! Сначала их, конечно, недалеко относят, а потом все дальше, дальше... Вертаются!

— Обратю в клетку? — уточнил Костя.

— Кому клетка, а кому — дом родной! — возразил Мишка.

6

Мишкина бабуся спать ложилась рано, по-деревенски.

— Почивают уже! — кивнул Мишка на закрытую дверь бабушкиной комнаты, когда они с Костей на цыпочках пробирались из коридора в кухню. — Зато завтра спозаранку будет кастрюлями греметь, спать мешать.

Костя сел на табуретку. И только тут он почувствовал, как устал за этот бестолковый и беспокойный день. Ныла губа, гудели ноги, и все тело ломало, как при высокой температуре.

Мишка по-хозяйски осмотрел содержимое кастрюль. Видимо, бабуля его не зря по утрам гремела, потому что выбор блюд был большой.

— Котлеты есть, — сообщил Мишка. — Голубцы вон. Может, борща тебе разогреть? Потом тут кисель смородиновый...

Костя попросил чаю, чтобы согреться.

Мишка поставил на плиту чайник и опустился на табуретку напротив Кости.

— Выкладывай: кто тебе пластическую операцию делал? — спросил Мишка, протягивая Косте карманное зеркальце. — Нравится?

Осмотрев посиневшую губу, Костя рассказал Мишке, что и как произошло. И про Никитича рассказал, умолчав лишь о своих слезах и взаимной жалости.

Мишка то хмурился, то улыбался.

Вспомнив женщину, которая развешивала белье на чердаке, Костя передал Мишке ее угрозы.

— Небось Фаина из четвертого подъезда? — уточнил Мишка. — Она давно на меня бочку катит. Но пока у нас с ней соглашение. Может, она забыла? Я ее Лилечку с Тайкой во дворе защищаю, а она моих голубей не трогает. Фаина в доску готова расшибиться, чтобы ее Лилечка с Таечкой самыми красивыми ходили. Все-таки хорошо, что я у своих родичей пацаном оказался! Как моя маманя говорит, штаны подпоясал, сопли высморкал и уже молодец. А с этими

девками хлопот небось не оберешься. Им только бантов одних целая пропасть нужна... А платьев? Юбок всяких... Вот Фаина и гнет на них спину. Мало того, что нянечкой в яслях, так она еще прачкой в трех магазинах подрабатывает. Халаты дома стирает, фартуки. А эти потом ходят гусынями, форсят. Лилечка ее да Таечка! Эх, если б не голуби!..

Мишка заварил чай и сделал бутерброды с котлетами.

— А ты, значит, не успел новую жизнь начать, сразу по морде схлопотал? — спросил он неопределенно. — Хорошо еще, Никитич пособил... Нам бы на пару там!

— К двоим не пристали бы, — отмахнулся Костя.

— Это точно.

Костя вздохнул и признался:

— Еще знаешь... Не могу я человека по лицу ударить.

— Так то человека!

— Да нет! — возразил Костя. — Я вот о чем думаю, Мишк. Неужели обязательно это? Жестокость, злоба? За что они меня так? Подумаешь, деньги! Пятнадцать копеек... Почему это, Мишк? Почему люди бьют людей? Разве нельзя иначе как-то? Как Никитич... Как отец мой... Не драться. Жить по-другому. Откуда она, злость-то эта? Та же Фаина твоя сразу плохое обо мне подумала...

Мишка молчал. Косте показалось, что он не слушал его. Мишка сидел на табуретке и смотрел в пол. Костя тронул его за плечо.

— Да я думаю, — отозвался Мишка. — Какие гады все-таки побили тебя! Не меня.. Мне что? А тебя!

Костя встал и заходил по кухне от буфета к плите и назад. Снова Мишка не понимал его. Никто, никто его не понимал! А может быть, Мишка-то как раз и понимал? Как-то по-своему, но понимал?

— Это не важно, — в волнении вымолвил Костя. — Не важно, тебя или меня. Почему надо бить, сразу бить?! Почему же Никитич не бьет?..

Костя вспомнил прощание с Никитичем, и снова слезы навернулись на глаза. Ему уже не хватало воздуха, и, чтобы не заплакать опять, он замолчал и сел на табуретку.

— погоди, — откликнулся Мишка. — Это пройдет. Настанет что-нибудь хорошее, и ты забудешь. Так всегда: плохо, плохо — и вдруг хорошо. Это у тебя сейчас так... Беспросветно. А потом... Ведь не было, не было, а приезжают же мои родители. Дождался!

«Он понимает!» — подумал Костя.

Но ему уже было мало простого понимания.

— А как сделать... — срывающимся голосом проговорил Костя. — Как... Чтобы не били? Чтобы родители твои не уезжали никогда? Чтобы мои... Чтобы никому, никому не больно! Как сделать?

Мишка молчал. Костя уже в испуге решил, что это ему только показалось, что Мишка его понимает. Но вслух он смог выговорить только:

— Как сделать? Как сделать?

— Тут это... — отозвался Мишка. — Философски вникнуть нужно! Если, как ты, глядеть, мозги свихнуть можно. Но если подойти философски... Если уж совсем философски!..

«Так и есть, — подумал Костя. — Так и есть. Ничего-то он не понимает!» Ему стало обидно, даже и не обидно, а как-то пусто стало в душе. Костя подумал, что Мишке, наверное, кто-то про философов наговорил, кто-то вбил ему в голову, что философствовать — это хорошо и все философы — умные люди. Ведь было уже так с дальтониками и альбиносами.

— Я как понимаю? У меня голуби. Их, если в голубятне не держать, кошки сожрут. А если, не дай бог, кошара какая сизаря моего распотрошит, я с ней, знаешь, что сделаю? Как же тут, чтобы без боли? Совсем нельзя, не получится, наверное.

«Да нет, понимает, — подумал Костя про Мишку. — Ему бы только с голубями своими связать...»

— А может, все договорились? — спросил Костя. — Может быть, все ошибаются, что нельзя? Ну, кто-то сказал, а все поверили. И думают теперь, что без жестокости нельзя. И обозлились все. А если попробовать? Может, кто и пробовал, но ему не поверили, потому что уже обозлились. Но если нельзя, то почему же Никитич?

— Тебе б, Листик, с бабкой моей поговорить, — хмыкнул Мишка. Вот всегда он так ни с того ни с сего в сторону уйдет. — Она каждый день об этом молится.

— Да ну тебя! Ничего ты не понимаешь.

— Ты, кажись, есть просил? — напомнил Мишка. — Так на тебе котлету. Из говядины. Или уже не будешь? Корову жалко?

Костя обиделся:

— Не надо мне твоих котлет. Все равно жевать больно. И чай небось горячий. Не выпить мне...

— Ты хоть киселя попей, — сжалился над ним Мишка. Костя выпил киселя.

7

Как и в прошлый раз, Мишка заснул быстро и безмятежно, скатившись в углубление скрипучей, неудобной для двоих кровати. Ныла Костина губа, и беспрестанно приходилось трогать ее. От этого она ныла сильнее. На потолке отпечатался крест оконной рамы в холодном волнистом свете уличного фонаря. Косте захотелось домой. То есть ему не то чтобы захотелось, а так, только подумалось, что неплохо бы оказаться в своей комнате, на тахте... И есть хотелось, и чтобы губа поскорее зажила. Грустно было на душе. Чтобы отвлечься, Костя стал вспоминать лето, дачу.

В тот день Марину увезли с дачи в город. Она промочила где-то ноги и схватила ангину.

Уже без нее Костя слонялся по пологому берегу реки, заросшему островками раkitника и крапивы. Солнце пекло даже через пилотку, сделанную из газеты. Фотоаппарат, который Костя зарядил еще с вечера, чтобы поснимать Марину, натирал ремешком взмокшую шею. Жарко было и душно, и к вечеру ожидали грозу. В сморенной, увядающей траве

вовсю болтали кузнечики на стрекочущем своем языке. Лето было на исходе. Пугливые, похожие на подрастающих мальков листья ракиты уже давно осыпались сухими колечками на горячий песок.

Иногда Костя прицеливался объективом фотоаппарата на зыбкую поверхность реки, или на ромашку, свесившую желтую пыльную головку в вялом венке лепестков, или на листья крапивы, которые хранили еще в тени бусинки утренней росы. Но что-то не нравилось ему, что-то сдерживало палец на спусковой кнопке, и Костя, потоптавшись на месте и так и не найдя интересного, шагал дальше.

Вообще-то, он больше любил снимать людей, их лица, улыбки. Но и в природе Костя видел постоянные изменения, как в лице человека.

— Погоди, пацан! — услышал он за спиной чей-то окрик.

Трое мальчишек поднимали босыми ногами шлейф пыли над дорогой. Впереди них катилась рыжим лохматым клубком смешная собачонка. За пазухой у мальчишек что-то топорщилось и перекатывалось, поэтому бежать им было неудобно.

«Деревенские... — сообразил Костя. — Яблоки на дачах воровали».

— Ты из города? — спросил, подбежав, толстый, крепенький малый с потрескавшимися губами и воспаленными уголками рта.

Видимо, он был заводилой, и его слушались.

Собака нехотя, для порядка обнюхала Костю и растянулась в его ногах, высунув узкий и влажный, пульсирующий язык.

— Дачник, — ответил Костя.

— Значится, городской, — сделал вывод заводила и швырнул в пыль надкушенное неспелое яблоко, которое держал в руке. — Отдыхаешь?

— Уезжать скоро, — сказал Костя и промокнул натертую шею носовым платком.

Понюхав брошенное яблоко, собака фыркнула и, облизав нос, поплелась по дороге.

— Шарик, стоять! — пискнул самый маленький мальчишка.

Он догнал собаку, подтащил ее за загривок и уложил возле себя. Когда мальчишка нагнулся, просыпались яблоки у него из-за пазухи. Шарик понюхал их привычно. Мальчишка оттолкнул его морду, собрал яблоки и посовал обратно под рубаху.

— Кончай, Чинарик! — одернул заводила самого маленького. — Не наигрался еще? Дай поговорить!

— Чай, не твой кобель-то! — огрызнулся Чинарик и погладил собаку по спине. — Два раза сбегал. Цепь рвал!

Заводила спросил Костю:

— Чего ты все щелкаешь?

— Да я и не щелкаю, — пожал Костя плечами. — Так... пейзажи ищу.

— Не свисти! Пизажи. Их художники рисуют. Красками. И все видно. Бородатые такие художники, как деды. У нас в Лужках один каждое лето живет. Тоже с бородой. Все ходит со своим ящиком. Пизаж найдет, станет, ящик раскроет, поставит и рисует весь день. Мы видали! Ящик у него на железных ногах.

— Этюдник это! — пропищал Чинарик.

— Во-во! — согласился заводила. — Только художники врут все. Ты где видал небо зеленое? — обратился он к Косте. — А наш, который с бородой, как станет рисовать, так небо у него зеленое выходит. А ты не свисти — ты карточки щелкаешь!

Третий мальчишка, чесавший все это время цыпки на руках, вынул из-за пазухи яблоко и стал жевать его, чавкая и морщась.

— Карточки разные бывают, — возразил Костя. — Бывают портреты, бывают пейзажи, натюрморты...

— Ладно! — осклабился заводила и хлопнул Костю по плечу. — Сыми с нас макет. Яблукотысыпем!

— Портрет! — поправил его Чинарик.

— Во-во! — охотно согласился заводила. — А мы тебе яблукотысыпем!

Костя и сам хотел их сфотографировать, поэтому сразу согласился.

— Я сниму, — сказал он. — А только яблоки вы не воруйте. Что ж вам, дачники совсем не люди? У них и воровать можно?

Заводила возмутился. Он залез за пазуху, достал оттуда яблоко и, протянув его Косте, сказал:

— Нешто мы ворует?! На, глянь! Это ж дичка. В посадках растет. Что вы все, ей-богу? Если деревенские, так сразу и воруют?!

Костя промолчал.

А мальчишки уже выстроились перед фотоаппаратом. В визир Костя увидел, как застыли в напряженной улыбке их лица. Будто лица были сами по себе, а улыбки — то, что на них наспех надето. Одеревеневшие фигуры вросли в дорогу, прочно, как телеграфные столбы. Лишь собаке не было дела до Костиных приготовлений, и она щерилась, тихонько поскуливала на руках у Чинарика. Заводила поправил всклокоченные волосы, но испуганная улыбка по-прежнему оставалась на его лице. Так снимать было нельзя. Костя подождал: может, мальчишки устанут, но те старательно, изо всех сил держали растянутыми в улыбках губы и как-то строго лыбились в объектив. Костя медлил еще и потому, что уже виделся ему во всем этом будущий снимок, хороший снимок. Он предчувствовал и караулил его.

— Чего стоите? Я уже снял. Сфотографировал! — пошел Костя на маленькую хитрость. Фотоаппарат он держал наготове.

— Уже? — разочарованно пискнул Чинарик.

Заводила улыбнулся наконец настоящей улыбкой и расслабленно подался вперед.

Третий мальчишка с облегчением принялся чесать свои цыпки. Тут Костя и нажал на кнопку. Этого ему и не хватало — естественности.

— Ты чего? — спросил заводила. — Еще никак щелкаешь? Костя закрыл объектив и повесил фотоаппарат на

шею.

- Это я на всякий случай, — соврал он. — Если не получится.
- Ага-а-а... — протянул заводила. — Яблуков хошь? Костя отказался.
- А когда карточки? — спросил третий мальчишка, молчавший до этого.
- Теперь на следующее лето ждите. Скоро уезжаю, — сказал Костя.
- Шарика шелкнул? — поинтересовался Чинарик. Заводила оборвал его:
- Везде ты со своим Шариком!
- Щелкнул, щелкнул! — успокоил Костя Чинарика.

Все потом получилось на снимке, как Костя и представлял заранее. Раскаленная, струящаяся зноем дорога с телеграфными столбами по обочине, с провисшими проводами между столбами, а па дороге бредут мальчишки. Они не то чтобы бредут. Они только что остановились зачем-то, что-то у них случилось такое, из-за чего самому маленькому понадобилось взять собаку на руки, а двум другим весело смеяться. Но и неважно было, что там у них стряслось, у мальчишек этих. Просто приятно было смотреть на дорогу, петляющую меж холмами, на мальчишек, на то, как солнце высвечивает ореолами взлохмаченные их волосы, смотреть и гадать: куда они идут и чего это так развеселились?

Костя назвал снимок «Пацаны».

8

Утром Костя еле проснулся. Оказалось, Мишка будил его минут пять, потом оставил в покое, сходил умылся и снова принялся будить.

Косте снились какие-то большие птицы, и он понимал, что это с виду они только птицы, а на самом деле — будто бы люди такие. Костя даже сам снился себе умеющим летать, как бы знал про себя, что умеет летать. Он и летал чуть-чуть, но почему-то плохо, невысоко. Что-то тянуло его к земле, какая-то тяжесть в ногах.

— Листик! Слышь, Костя! — донесся до Кости Мишкин голос. — Бабка, кажись, догадалась! Да проснись ты!..

— Как? — сел Костя на кровати и тряхнул головой.

Заныла потревоженная губа, и это стряхнуло остатки сна. Но Костя еще пробормотал машинально:

— Мы улетим от нее. Хороший разбег...

— Чего ты мелешь! — возмутился Мишка, подавая Косте одежду. — Штаны лучше надень. Улетит он! От моей бабки даже голуби мои не улетят, если она захочет. Очень бдительная старушенция. Бабка-то радио слушала сегодня. Она его не выключает. «Мальчик, — говорит, — пропал. Радива сказала». — «Ну и что? — спрашиваю. — Мало ли мальчиков на свете пропадают?» — «А то, что, может быть, он не пропал совсем? — говорит. — Видала я его, кажись. Того, про которого радива сказала». — «Радива, — говорю я ей, — не телевизор. Ты по нему, баушк, ничего видеть не можешь». А сам уж понимаю, что на тебя она намекает. «Сдается мне, Мишенька, видала я его, голубчика». Это она опять мне. «Ладно, — говорю, — баушк, спросони это тебе. Скоро вообще Михаил-архангел привидится! Ты б еще газеты читать научилась...» Отвлекаю я ее помаленьку. Да разве ж ее чем с пути истинного своротишь? Не бабка, а Шерлок Холмс! «Так-то оно так, — отвечает. — Грамоте я не обучена, а от телевизора вашего глаза мои слезятся. Да ты мне, Мишенька, лучше вот что скажи: не у нас ли мальчик этот вторую ночь ночует?..» И хитро так улыбается.

— Сваливать мне пора! — заключил Костя. Он уже оделся.

— Герой нашелся! — ехидно усмехнулся Мишка. — Куда ты с таким дирижаблем вместо нижней губы подашься? Разве что домой?

Костя подозрительно взглянул на него. Мишка вроде не шутил.

— А правда, Листик, — вдруг сказал он, — шел бы ты домой. Тебе туда по всем признакам пора!

— Опять свою философию завел? — съязвил в свою очередь Костя.

— Да нет. — Мишка говорил серьезно. — Не понимаю я. Тут ждешь не дождешься, когда предков увидишь... А у тебя они всегда рядом, под боком. И от них же и бежать?!

— Долго объяснять! — буркнул Костя, направляясь к выходу. Он чувствовал, что злится, причем злится зря, но остановиться не мог. Поэтому лучше всего было сейчас уйти.

— Куда ты все-таки? — тихо спросил Мишка.

— Куда да зачем! Придумаю, — на ходу выпалил Костя и добавил примирительно: — Вечером позвоню.

— На всякий случай попозже приходи, когда бабка спать будет... — услышал Костя уже на лестнице.

А губу и вправду разнесло так, что прохожие оборачивались. Костя невольно прикрывал ее рукой. Впрочем, в этом была и печальная прелесть: разбитая губа не входила в перечень его примет, переданных по радио. Костя, шагая по утренним улицам, то и дело возвращался к одной и той же, зароненной Мишкой, мысли. Нет, конечно, о возвращении не могло быть и речи. Просто Костя думал о том, что было бы, если б его нашли. Кто-нибудь: милиция, родители, бдительные прохожие или знакомые. Может, совсем и неплохо было бы? Мысль эта то возникала, то отлетала, и Костя никак не мог отогнать ее. А тут еще хотелось спать и есть. Есть, пожалуй, хотелось больше.

— Кто ж тебя так, милай? — спросила, всплеснув руками, старушка-уборщица, когда Костя переступил порог пельменной.

— Трамвай переехал, — буркнул он недовольно, потому что еще не улеглась злость на Мишку, потому что надоела уже эта, им подкиннутая, мыслишка. И к тому же предстояло терпеть адскую боль.

Костя еще за квартал до пельменной стал собираться с духом на такое теперь дерзкое предприятие, как обыкновенный завтрак.

— О господи! То пропадают они, то под трамваи лезуть!.. — продолжала сокрушаться старушка, смахивая крошки со столов.

Костя еле одолел с десяток разваренных липких комочков из теста и выпил стакан бурды, которую в меню громогласно объявляли как «кофе черное». Видно, была неисправна пишущая машинка.

«Сами, наверно, не пьют эти помои!» — оглядел Костя тушу кассирши в белом халате.

Костя понимал, что следовало бы избегать людных мест, но в фотоаппарате кончилась пленка. К тому же у него появилось новое, бесшабашное и рискованное желание, даже и не желание, а, может быть, только предчувствие его. «Ну и что, что найдут! — думал Костя с неожиданным для себя упрямством. — Ну и пусть находят!..»

Универмаг, как всегда, был полон народа. Костя пробил чек и обменял его на две коробочки пленки «Фото-130». Пленка была уже в кассетах. Так выходило дороже, зато отпадали поиски темного места, чтобы перезарядиться.

Выходя из универмага, Костя вспомнил, как учил заряжать кассеты и двухспиральные фотобачки своего учителя живописи из художки. Не все у того получалось, и Косте приятно было учить учителя. Да еще такого строгого, как Игнат Павлович.

Костю всегда восхищало его имя.

«Всех Мишами зовут, Костями... Максимов развелось! Артемов, Андреев, Денисов хоть пруд пруди! — думал он. — А тут — на тебе: Игнат Павлович! Игнат! Дореволюционно как-то. И не модно, и красиво...»

У них с Игнатом Павловичем было взаимное уважение. Костя уважал учителя за красивое имя, за терпение, с которым тот правил его мазню, за трудолюбие и добрый нрав, а Игнат Павлович уважал Костю за умение фотографировать и за врожденное, по его выражению, чувство композиции.

«Можешь, можешь, — приговаривал всякий раз Игнат Павлович, рассматривая очередные Костины снимки, и тут же шутил: — Жду фамилию в прессе!»

С прессой у Кости двигалось туго. Никак не двигалось.

Еще в начале лета, когда художка возвратилась с пленэра, Костя получил ответ из журнала «Советское фото».

«Уважаемый товарищ Листопадов! — Костя наизусть помнил это короткое письмо на фирменном бланке. — К сожалению, редакция не сможет воспользоваться Вашими снимками. Они не отвечают тем требованиям, которые редакция предъявляет к данным жанрам фотографии. Технически снимки выполнены грамотно и изобретательно, но этого мало. Советуем Вам попробовать силы в областной молодежной газете...»

Вот что ответили Косте из журнала, но у него не было тогда еще портрета Марины, который он позднее назвал «Знакомая девочка», лежал в негативе снимок «Весна» и лишь предстояла встреча с деревенскими мальчишками, с «Пацанами». А главное — он тогда не умел еще видеть будущий снимок наперед. Правильно писали ему из журнала. Теперь Костя это хорошо понимал. Мало одной техники, нужно было нечто большее.

И вот, когда, по мнению Кости, у него это нечто большее появилось, когда три лучших снимка, отпечатанных форматом двадцать четыре на тридцать сантиметров, лежали в заветном конверте, он и отправился в редакцию молодежной газеты.

Стены фотолаборатории глядели на Костю громадными снимками, наклеенными на доски из прессованной стружки. Увеличение придавало фотографиям значительность, которой на самом деле не было. Снимки были обычными, даже скучными, если посмотреть на них подольше. Все больше какие-то люди у станков, на комбайнах, за рулем автомобилей. Люди-то были разные, да фотограф видел их одинаково. У Кости даже родилось ощущение, что на всех снимках снят один и тот же человек. Менялся только фон, станок или автомобиль.

Костя, переходя от стены к стене с фотографиями, нечаянно задел ногой стул.

— Кто там? — спросил кто-то из-за двери, зашторенной черной материей.

Над дверью замигало табло: «Проявочная! Не входить!»

«Я и не вхожу!» — подумал Костя, а вслух сказал:

— Снимки принес.

— Сейчас, — отозвались за дверью, и табло погасло.

Костя сел на стул возле большого овального стола, заваленного обрезками фотобумаги, скрученными роликами негативов, пустыми пакетами и пакетиками из-под фотореактивов. Тут же стояли весы с черными пластмассовыми чашечками на ниточках и разбросаны были маленькие никелированные гирьки.

Наконец распахнулись шторы и появился статный мужчина с рыжей бородой. Окинув Костю суетливым взглядом, бородач сказал равнодушно:

— Привет. Ко мне? — спросил он, взглянув в окно и щурясь от яркого света.

— Вот, — подал Костя пакет с фотографиями.

— Это по заданию?

— Называется «Весна», «Знакомая девочка» и «Пацаны», — решил Костя не отвечать на его вопрос и перешел прямо к делу.

Бородач хмыкнул.

— Так и называется?.. — спросил он, как-то плохо взглянув Косте в глаза.

— Да, — подтвердил Костя.

— Та-а-ак. Посмотрим, что там у тебя делают знакомые девочки по весне с пацанами... — любопытно зыркнул бородач в пакет с фотографиями.

Пакет полетел в кучу бумаг и пленок на столе, а снимки рядом разлеглись на полу. Бородач прошелся вдоль них. Глаза его побегали с одной фотографии на другую и в конце концов уставились удивленно на Костю, который ждал и боялся этого взгляда. Впрочем, бородач не долго смотрел на него. Он, видимо, вообще не мог подолгу что-либо разглядывать.

— Ну и что? — тихо спросил бородач и закрыл глаза.

Костя понял, что похвал не будет. Что уж было думать о том, чтобы снимки появились в газете...

Костя об этом думать перестал.

— Хочу напечатать... — по инерции промолвил он, потому что надо же было что-то отвечать на это дурацкое «ну и что». — В газете.

— Фотография, старик, дело серьезное, — назидательно сказал бородач, открывая глаза. И глаза его забегали, забегали, будто кругом было скользко и взгляд не мог удержаться на месте. — Это, старик, искусство! А что газета? Я,

старик, понимаю. Ты приходишь, глаза разбежались... Ух, газета! Ах, газета! Вот она, слава! Вот где известность!.. Газета, старик, это та же фабрика. Видал конвейер? — кивнул он на фотографии, развешанные по стенам. — Это рабочий Иванов делает молотилку, а это колхозник Сидоров на ней молотит... Так-то вот, старик, молотим! Намолачиваем! Обмолачиваем!.. Понял?

— Значит, не подходят? — упавшим голосом уточнил Костя.

— Почему? — ехидно улыбнулся бородач. — Девочка ничего! Подрстет — ив самый раз. Ты, наверное, с ней дружишь? Вот ей и подари в альбом карточку. — Бородач по-прежнему избегал встречаться с Костей глазами. — Одну себе над кроватью повесь, другую ей подари. А нам, старик, намолот нужен, борьба за урожай и качество. И чтоб по физиономии видно было, сколько кто намолотил с гектара. Знакомые девочки и пацаны нам ни к чему как-то. Тем более, весна! Осень на носу! А весна — это что? Это, старик, не твои скворечники да веточки. Весна для нас — это сев, это дружные всходы озимых, это, старик, подготовка колхозником Петровым техники для предстоящей борьбы за намолот!

Костя понял, что бородач над ним издевается.

— Зачем вы так? — спросил он робко.

Глаза бородача на миг задержались на Костином лице.

— Прости, старик, — сказал он вяло. — Устал я тут дурака валять. Молотить устал... А ты еще пришел и душу травмишь! Искусство тебе подавай! Мнения высказывай!.. Ладно, ступай, старик, с богом. Мне еще в завтрашний номер фоточерк печатать. Давай, давай! Привет знакомой девочке.

— До свидания, — попрощался Костя и сунул пакет со снимками под мышку.

Ему почему-то жалко стало бородача.

Увлечшись воспоминаниями о своем походе в редакцию, Костя не заметил, как очутился на горбатом подвесном мосту. С него рыбаки удили рыбу. Собственно, рыбы видно не было, а рыбаки беспрестанно подергивали поплавки, сносимые течением, и зевали. Угрюмо и монотонно рокотала вода, переваливаясь через закрытые шлюзы небольшой плотины под мостом и разбиваясь о черные камни внизу.

9

Горсад, как сокращенно называли городской парк культуры и отдыха, летом становился для горожан чуть ли не святым местом, местом паломничества и самоприношения. Каждый вечер люди, преисполненные строгого величия, разодетые, отутюженные, побритые и причесанные, в одиночку, парами и целыми шеренгами, как на демонстрации, поднимались по бульжной мостовой улицы Ленина, которая и вела к заветной цели.

Как-то Костя услышал шутку: «Людей поглядеть и себя показать».

И в ней, как и во всякой шутке, открылась для Кости и доля правды.

Центром горсада считался бетонный круг танцплощадки, огороженный металлическими прутьями и освещенный, как ночной аэродром, сильными прожекторами. Здесь был сгусток, ядро горсадовой вечерней жизни, здесь гремела музыка и бушевали страсти. От танцплощадки вечерняя жизнь и музыка растекались в полумрак аллея, крутыми склонами спускались в овраги и дальше, ниже, к реке, к пляжным беседкам и скамейкам, таинственным и темным у самой воды.

В конце лета Костя часто встречался с Мариной в городе. Они даже имели свое место: третья ступенька снизу на лестнице старого драмтеатра.

«Когда?» — спрашивала Марина, если Костя звонил ей. Он называл время.

«На нашем месте?» — обязательно уточняла Марина, потому что, наверное, ей нравилось, что у них есть свое место.

«Как всегда», — отвечал Костя и тоже радовался этому постоянному месту и тому, что может так сказать: «Как всегда».

Марина называла их встречи — свиданиями. Косте это не очень нравилось, потому что, по его представлению, свиданиями было что-то другое — он толком не знал что, — но не их с Мариной прогулки по городу. Они ведь даже за руки не держались. Но раз Марине нравилось так называть, Костя молча терпел. Свидания так свидания.

В одно из этих летних свиданий, когда они решали, куда пойти, Марина заявила:

— Айда в горсад!

— Себя показать, на других поглядеть? — усмехнулся Костя, вспомнив чью-то удачную шутку.

— Все ходят, — рассудила Марина. — А что такого?

Ничего такого Костя в этом не видел. Он и раньше ходил в горсад с родителями покататься на карусели, на колесе обозрения, на лодках-качелях, ходил и с Мишкой ползать по оврагам, поиграть в войну или искупаться на городском пляже. А тут предстояло идти с девчонкой, с Мариной, вечером. Этого Костя еще не делал, не знал, как вести себя в этом случае, поэтому побаивался. Тут уж выходило самое настоящее свидание, раз в горсаду, под музыку, в сумерки. Косте почему-то именно так представлялись настоящие свидания. Отказаться по боязни Костя почел стыдным, и они с Мариной пошли.

Фонтан у входа бил во все свои струи. На лавочках перед дощатой сценой сидели пенсионеры. Они переговаривались, изредка поглядывая на выступающих. Такие же пенсионеры, обвитые медными трубами с широкими тусклыми жерлами, старательно дули, пыжились, выводя грустную мелодию вальса. Тут же возле сцены играли малыши: катали самосвалы, качали кукол, бегали друг за другом вокруг скамеек. В горсаду каждый возраст имел свой уголок, и пенсионеры с детьми своих детей выбрали самый тихий и близкий от входа.

Музыка вальса смолкла, вяло похлопали своим коллегам из духового оркестра старики и старушки на лавочках. Малышня тоже захлопала. На сцену вышел лысый дядька и объявил:

— А сейчас в гостях у нас... Эх! Такого поэта хочется объявлять стихами! Витольд Хламов прочтет свои новые стихи!

Марина потянула Костю за руку.

— Дальше пойдём? — спросила она вкрадчиво.

Косте хотелось идти дальше. В самом деле, не торчать же весь вечер рядом со стариками и старушками, с их внуками и внучками, с дощатой скучной сценой. Но дальше начинались деревья и кусты, аллеи, скамейки, темные закоулки и звуки музыки с танцплощадки. Дальше, в полумраке этих аллей, за этими деревьями и кустами, на этих скамейках, начинался таинственный и беспокойный мир взрослых. И если бы Костя был один, этот мир принял бы его как обыкновенного мальчика, принял бы на правах ребенка среди взрослых, как принимал он их с Мишкой, когда они бегали и ползали по оврагам, стреляли из деревянных автоматов в воображаемых врагов. Но теперь рядом была Марина. С ней Костя становился как бы тоже взрослым и должен был в этом мире жить уже по его законам. Законов Костя не знал, но был уверен, что они существовали, поэтому и боялся уйти с открытого пространства, от детей и стариков, которые тоже были похожи на детей, боялся оторваться от понятного и близкого и сунуться в неизвестное, в темные аллеи, в звуки чужой музыки. И в страхе своем, забегая мысленно вперед, Костя представлял себя в этом мире беспомощным и жалким, как человек с завязанными глазами на краю обрыва.

И, неосознанно отдаляя это неизбежное столкновение, Костя разыграл из себя любителя поэзии и предложил Марине:

— Послушаем стихи?

Марина капризно пожала плечами и промолчала.

— Ну как? — спросил Костя, ожидая уже Мариного недовольства.

— А ты чего покраснел-то? — удивилась Марина.

— Я? Разве? — смутился Костя еще сильнее.

— Я про любовь стихи предпочитаю! — вяло отмахнулась Марина от начавшего новое стихотворение поэта Хламова и повернулась уходить. — Тебе что, жарко, что ль? Сними пиджак, — посоветовала она Косте.

Пиджака Костя не снял. Ему казалось, что в пиджаке он должен выглядеть взрослее.

Они с Мариной пробрались к танцплощадке и взялись руками за холодные прутья оград. В раковине эстрады, расставив широко ноги и лениво перебирая струны плоских рогатых гитар, пели на плохом английском три длинноволосых парня в одинаковых атласных косоворотках навывпуск.

Ниже эстрады тряслась ликующая толпа молодых людей.

Костя и раньше видел танцы в горсаду и слышал эту музыку, но теперь они воспринимались иначе, потому что с ним была Марина. Костя боялся, что она потащит его на танцплощадку. А так кривляться он не умел. Даже если бы каким-то чудом и научился, все равно постеснялся бы.

Но Марина, слава богу, не потащила его туда. Она только изредка взглядывала на Костю остекленевшими от восторга глазами и шептала что-то чуть слышно.

— Что, детка, нравится? — спросил Марину вдруг взявшийся откуда-то парень.

Костя вздрогнул и подумал, что именно этого он ждал, когда опасался идти к танцплощадке. И ведь обязательно что-то в этом роде должно было произойти, раз он так напряженно об этом думал.

— Пошли, детка, потанцуем, — сказал парень, уверенный в том, что Марина пойдет с ним. Он стоял на самой танцплощадке, за решеткой, и звал Марину туда, к себе, в этот рев музыки, в эту прыгающую, трясущуюся толпу. — Что, не пускают? Иди ко входу. Я скажу, что со мной...

Парень, пожалуй, не был так уверен, как показалось Косте сначала. Просто он тоже из последних сил старался придать своему лицу выражение скуки, а голосу — гробовое спокойствие и медленность.

Костя молчал. Все теперь от Марины зависело. Пойдет она или нет? От нее зависела и дальнейшая их дружба, и то, какими глазами Костя будет смотреть на ее фотографию, и вообще Косте вдруг показалось, что в этот миг вся судьба его зависела от нее. Марине так хочется туда! Туда!!! Ей только не с кем было. С Костей не пустили бы. И вдруг нашлось, нашлось с кем...

А парень уже направился ко входу на танцплощадку, уже и рукой ей махнул, чтобы шла за ним.

«Предает или не предает?» — напряженно думал Костя.

Марина посмотрела на него, виновато улыбнулась и пожала плечами. Косте показалось по тому, как она улыбнулась, что она пойдет...

От этой мысли заныло в груди и противная слабость разлилась внизу живота и опустилась в ноги. Время остановилось для него.

— Долго тебя ждать?! — вернувшись с полдороги, нетерпеливо спросил парень. — А мальчика оставь тут... Подождет...

Нет, он не был так уверен, — это Костя теперь точно понял. Пропала даже скука, и лицо парня уже выражало даже какую-то капризную растерянность.

— С тобой небось никто танцевать не хочет! — спросила, даже не спросила, а торжественно обличила парня Марина. — Я тоже не хочу! Детка! Пойдем отсюда, Листик.

И они пошли. Парень что-то оскорбительное кричал им вслед, но музыка заглушала его слова. Да Костя и не обратил на них никакого внимания. Главное, что Марина не пошла, не предала!

10

Костя легонько раскачивался в люльке колеса обозрения и слушал, как ветер свистит вверх, обтекая железные стропила каркаса. Ныла больная губа. Костя на время забывал о ней, но стоило ее чуть потревожить, как нудная привычная боль снова давала себя знать.

Осень погрузила горсад в желтую дремоту. Лишь клочок афиши напоминал о лете.

«...Аттракционы, концерты, танцы. Каждый вечер массовые народные гулянья. Посетите...»

Красно-желтый лист клена спланировал Косте на колени. А наверху не унимался ветер, с визгом раскачивал разноцветные люльки колеса обозрения, трепал макушки деревьев и нес с обрыва к реке целые охапки сорванных

листьев. Бился на ветру клочок афиши и никак не мог расстаться с фанерным рекламным щитом.

«...Аттракционы, концерты, танцы», — еще раз прочел Костя и вяло улыбнулся своим воспоминаниям.

Так и закончилось тогда его первое столкновение с миром взрослых. И Марина не предала, и он сам не выдал робости своей и растерянности. Можно сказать, благополучно тогда все закончилось.

Костя хотел есть. К Мишке идти было нельзя: опасно, да и расстроил он душу Косте своими разговорами о возвращении. Ему что? Сболтнул и забыл... Оставалась Марина, и то если ее мать уехала к отцу, как собиралась. Костю смущала разбитая губа. Не хотелось показываться Марине в таком виде. Но голод брал свое, и Костя побрел из парка к телефонной будке.

«Шрамы украшают мужчину!» — подбодрил он себя вычитанной где-то фразой.

Воспаленный болезненный закат дотлевал в прогале между домами. Загорались окна, и сами дома казались на фоне алеющего неба плоскими, сквозными, будто выпиленными лобзиком из фанеры. Костя навел фотоаппарат и наспех щелкнул два раза. Руки зябли без перчаток.

Костя забежал в телефонную будку.

— Это я, Кузнечик. Привет! — крикнул он в трубку, обрадовавшись Марининому голосу.

— Костенька, что с тобой? По радио говорят: «Разыскивается...» Мама твоя телефон оборвала! Ты где находишься? — сбивчиво затараторила Марина.

И снова у Кости защемила душа. «Мама телефон оборвала!.. Мама...» Да что же это такое? И из дому убежать по-человечески не дают! Сговорились они, что ли?..

— Я из будки на закат смотрю, — нарочно небрежно сказал он.

— Какой будки? Они тебя в будке держат? — ужаснулась Марина.

— На цепи! — назло выпалил Костя, но тут же пожалел об этом, потому что Марина приняла все за чистую монету и, кажется, расплакалась там с горя.

Он уже не знал, как остановить неожиданно хлынувший из трубки поток слов, всхлипов и самого настоящего девчоночьего рева.

— Да сам я!.. — кричал он в трубку. — Сам сбежал! Да слышишь ты или нет?! Не украли меня! Не у-кра-ли!!! Начиталась там детективов... Мне жить негде. Твоя мама уезжать собиралась. К тебе можно?..

Марина вдруг замолчала. Слышно было только, как шмыгает она носом и чем-то шуршит.

— Алло! — робко сказал Костя и стукнул кулаком по железному ящику автомата.

— Как сам сбежал? — растерянно спросила Марина наконец. — Так прямо сам?..

— Сам, сам... — устало подтвердил Костя.

— А ты знаешь, как тебя ищут? Знаешь?! — обиженно спросила Марина и снова всплакнула. — Сам он, видишь ли...

— Я переночевать у тебя хотел. Ладно... Тогда куда-нибудь еще подамся... — разочарованно проговорил Костя. Он нарочно так сказал, чтобы Марина испугалась, что он бросит трубку, и перестала там реветь, как корова.

Марина и вправду спохватилась:

— Нет, Костенька! И не думай!.. Мама уехала. Смотри, никуда!.. Приезжай!..

— А ты предкам моим сейчас позвонишь? — на всякий случай решил испытать ее Костя. — Приду, а у тебя засада... Лучше я...

— Алло! Алло, Костя! Не смей! — надрывалась уже Марина. — Никому я не позвоню! Понял? Ты голодный, наверное?

— Угу... — согласился Костя.

— Яичницу будешь?

Этим Марина его сразила. Костя даже забыл про опасность и крикнул в трубку:

— Бегу!

Марина с порога набросилась на него:

— Что хоть случилось, господи?!

— Положи куда-нибудь... — протянул ей Костя фотоаппарат и стал разуваться.

В тепле закружилась голова, запыхали щеки и пальцы ног щекотно стали покалывать, согреваясь.

— Да не молчи! — прикрикнула на него Марина в нетерпении. — Где тебя нелегкая носила два дня?

Костя почувствовал вдруг такую усталость, что трудно было даже слово вымолвить. Он поднялся с корточек, влез ногами в тапочки, выставленные Мариной, и зашаркал в ванную.

— Дай хоть умыться... — буркнул он на ходу.

— А что с губой?

Костя не ответил. Когда с грехом пополам он одолел яичницу, выпил чаю с печеньем, Марина провела его в одну из комнат и усадила в кресло. Сама она забралась, поджав ноги под себя, на диван напротив и стала похожа на уютно устроившуюся в тепле кошку. Косте даже захотелось ее погладить.

— Рассказывай! — потеряв терпение, строго велела Марина.

И Костя рассказал. И получилось у него, что ничего особенного не произошло. Удрал и удрал... Успел получить по зубам, снять пару неплохих кадров и вспомнить всю свою недолгую и грустную, в общем-то, жизнь...

Марина молчала.

Костя первый раз был у нее дома, хотя звонил почти каждый день. Комната показалась ему тесной. Вся она заставлена была мебелью: шкафы, диван, кресла, почему-то сразу два стола — один большой, обеденный, другой поменьше, на нем стоял телевизор, — сервант с зеркальными полками и посудой на них, венские стулья вокруг стола, подставки для цветов... Стены завешаны были коврами, так что стен и не видно было из-за мебели и ковров.

Комната казалась какой-то необжитой, будто хозяева ее вот-вот могли сняться отсюда и уехать в дальние края. Лишь желтый свет торшера, похожего на спящую с поджатой ногой цаплю, собирал кое-как беспорядочное

пространство комнаты, эти натканные всюду, громоздкие вещи в нечто целое и создавал иллюзию уюта.

Костя знал, что Маринин отец был военным летчиком и служил где-то на Крайнем Севере. Марина с матерью, чтобы не потерять квартиры, жили вот уже второй год без него. Только в отпуск и виделись.

— Когда мама твоя возвращается? — спросил Костя, оглядевшись.

Было что-то расслабляющее в желтом, теплом свете торшера, в мягком кресле с острыми подлокотниками. Костя зевнул, прикрыв рот ладошкой. Проклятая губа!..

— Она позвонит, чтоб я встретила. Рыбы красной, икры привезет... У отца отпуск не скоро, а ей сейчас дали. Вот и понеслась к папочке птичкой!.. — Марина как-то раздраженно это сказала.

— Ты недовольна чем-то? — спросил Костя.

— Что хорошего? — вздохнула Марина. — Я им с отцом только мешаю. Думаешь, мама стала бы тут жить? Давно бы все бросила. Это я ее держу. Камнем на шее. Она сама недавно сказала. Была бы бабушка у меня или еще кто, с кем оставить можно... А у отца гарнизон — три барака. Ни школы, ни детского сада даже. Со мной туда нельзя. Вот она и мается тут. Не живет, а отпуска ждет! Моя мать одного отца и любит...

— А отец?

— Я его мало вижу. Но я же не убегаю! — вдруг вскрикнула Марина. — Как ты! Не любят его, видишь ли, родители! Мама твоя звонила, плакала... Это она-то не любит? Она? Моя бы, наверное, рада-радешенька была, если б я куда делась... Уж не плакала бы — это точно. Вот когда от отца писем долго нет, она ревет. Видела. А что ей я? Много ты понимаешь: любят, не любят!..

— Знаешь, это даже не важно... — по-своему рассудил Костя. — Важно, что твоя мама отца любит! Мои вон давно уж друг друга не любят... Терпят друг друга. У них ребенок. Я у них... Из-за меня и терпят. Может, что изменится у них теперь? Без меня...

— Надоело мне все! — с досадой сказала Марина. — Вырасту — замуж выйду. И прощай, мама! Чтоб никаких тебе: «Марина, спать! Марина, есть! Марина, не бери! Марина, учи!..» Прийти домой, и кругом все свое, и сама себе хозяйка...

— И тебе, значит, тоже? — спросил Костя, не особенно вникая в смысл ее слов.

— Что?

— Своего скорей охота... Чтобы мечта сбылась, — уточнил Костя, думая о своем. — Знаешь игру? Горячо — холодно. Прячешь что-нибудь, а другой ищет. И ты ему подсказываешь. Ближе подошел к спрятанному — горячо, удалился — холодно. Мне тоже сейчас все подсказывают. И ты... Никак мне не найти.

— Ну почему? — удивилась Марина. — Неужели не ясно? Вырасти нужно. Подождать, и все будет. Мне давным-давно ясно все и видно впереди. Ты как маленький, честное слово. Игра ему какая-то!..

Костя вдруг спохватился. Что она говорит такое? Что ей видно там впереди? Он уже взглянул на Марину иначе. И в этом желании ее скорее выйти замуж уже чувствовалось ему возможное предательство.

— За кого же ты собралась? — робко спросил он, в пошатнувшейся надежде услышать от Марины: «За тебя».

— Просто хочу... — убийственно равнодушно сказала она, потупившись.

— За кого? — уже потребовал Костя, чувствуя, что краснеет.

— Мама считает, лучше за военного... — пролепетала Марина. — Она отца любит...

— За какого еще военного?! — возмутился Костя.

Но Марина будто не понимала нисколечко, что с ним происходит.

— Как отец... За офицера... — уточнила она бездушно.

— Замуж ты за меня пойдешь! — неожиданно для себя выпалил Костя и замолчал в ожидании.

Марина так же неожиданно для него легко согласилась:

— За тебя так за тебя. Я так и думала, что за тебя... Только скорее, чтоб все свое! Мне свой дом иметь хочется. И все-все свое!.. Дети, кухня, мебель, муж...

Но с Костей уже что-то произошло, и ее слова странным сомнением отозвались в нем. Между ним и Мариной словно образовалась какая-то пустота, незаполненность чувством. Он и знал, и, казалось, не знал теперь Марину. И появилось такое впечатление, что и тут, в их отношениях с Мариной, раньше простых и понятных, он вдруг запутался и тычется теперь, как слепой, ищет что-то и не может найти, а кругом кричат, направляют или путают: «Горячо, горячо... Холодно...»

11

Давно стемнело. В доме напротив светились окна, а на крыше горела красными буквами неоновая реклама. «Родители! Прячьте спички от детей! Беспечность приводит к пожару». Слово «спички» то зажигалось, то гасло, и Костя не мог никак понять, испорчена реклама или так и задумано.

Марина постелила ему на диване, узком и ворчливом. Каждое Костино движение отзывалось в старом рыхлом теле дивана протяжными глухими стонами и рыками, и это мешало уснуть.

Костя лежал, закинув руки за голову и стараясь не шевелиться. «Горячо, горячо... Холодно... — твердил он про себя, как навязчивую считалку. — Что ж делать-то? Дальше что? Горячо, горячо... Холодно-Горячо, горячо...» Он вдруг поймал себя на мысли, что думает только о себе, все время, всю короткую пятнадцатилетнюю свою жизнь — о себе!.. И даже эти, нынешние, его поиски и они — в одном направлении: о себе, для себя, свое... Как у Марины. А родители? Мама? Отец? «Горячо, горячо...» Ну почему они должны прятать от него эти спички? От него, для него... А что же они для себя? Ведь им тоже больно, не только ему. И это открытие, что больно бывает не только ему, что и другие, как и он, от чего-то страдают, — это удивительное открытие потрясло его.

Костя даже сел на диване, опустив босые ноги на холодный пол. Будто и нельзя уже было спокойно лежать с этим в душе. Даже сидеть было нельзя!..

Он нащупал ногами тапочки, встал и принялся ходить по комнате.

«Ну, конечно, — лихорадочно думал Костя, — у всех, у всех что-то свое, всем больно, все страдают».

И, немедленно желая проверить свое открытие, Костя примерял его поочередно ко всем близким и просто знакомым людям. Все, все подтверждалось! Мишка, его лучший друг, мучается без родителей. Марина... У нее тоже, пожалуй, как и у Мишки. Даже рыжебородый Гриша из редакции молодежной газеты вспомнился. Каково же ему, бесталанному? А Вадим Леонидович?.. Что же он про него-то забыл? У руководителя их фотосекции столько всего было в жизни...

«У всех! У всех!..» — подытожил Костя.

Охваченный этим новым чувством, он наспех оделся, вышел на цыпочках в коридор, к телефону, и набрал своей домашний номер. Трубку после первого же длинного гудка схватил отец.

— Я вас слушаю, — как всегда, только тревожным голосом сказал он.

Костя молчал. Ему хотелось сказать, закричать хотелось, что это он, что он теперь другой, что он открыл... Но не было у него слов выразить все это, и сделалось ужасно вдруг стыдно.

— Я вас слушаю! — повторил отец с раздражением.

И тут Костя услышал голос мамы, такой далекий, искаженный телефонными помехами, родной ее голос. Но он бы узнал, нашел ее голос из тысячи, из ста тысяч голосов, из рева толпы!..

— Это он, — еще неуверенно говорила она. — Дай мне! О господи, что же ты возишься? — укоряла она за что-то отца. — Это же он!

«Как она почувствовала?» — удивился Костя.

Трубка выскальзывала из его влажной ладони, и он схватил ее другой рукой.

— Костя! Сыночек ты мой!.. — завладев наконец трубкой, кричала ему мама. — Это же ты? Я знаю! Костенька!..

Он задышался от стыда, от слез, от невыносимого желания отозваться и от невозможности это сделать. Раскаленный ком подступил к горлу, и можно было только тихо плакать, содрогаясь всем телом.

— Где ты, сынок? Где?..

Костя повесил трубку, не в силах больше справиться с собою. Его вина вдруг представилась ему огромным рыхлым снежным комом, несущимся с горы. И с каждым мгновением она росла, безобразно пучилась, разгонялась в своем стремительном неукротимом движении вниз, увлекая его за собой. И как было остановиться? Можно ли?

В коридоре стало светло. Костя вскинул голову навстречу свету, не стесняясь своих заплаканных глаз. Марина стояла в дверях в халате поверх длинной, до пят, ночной рубашки и, щурясь, молча смотрела на него. Костя рукавом промокнул глаза и шмыгнул носом.

— Домой звонил? — спросила Марина тихим, сиплым со сна голосом.

Костя кивнул.

— Дурак же ты! — сказала Марина и ушла к себе в комнату. Костя надел курточку, с вялым удивлением обнаружив, что она аккуратно зашита, выключил свет в коридоре и вышел из квартиры.

Во дворе своего дома он сел на лавочку в беседке. Дырявая толевая крыша беседки свистела и хлопала оторванным краем под порывами ветра. Кружилась листва под ногами, и ночной холод лез под брюки.

Во всем их доме горели только два окна. И это были окна их квартиры. Костя смотрел на эти знакомые и такие далекие теперь окна, различая даже незамысловатый рисунок на красных льняных шторах. Как хотелось ему оказаться по ту сторону этих штор, дома, с мамой и с отцом! Как хотелось!.. Будет ли это когда-нибудь? Сможет ли он?

В окне промелькнула чья-то тень, Костя вздрогнул в испуге, будто его могли заметить. Тень снова появилась, изломанная складками штор. Он узнал маму. Тень ее с сигаретой в руке быстро переместилась в другой конец окна, затем вернулась на прежнее место. Мама, наверное, ходила возле окошка.

Другая тень, выше маминой, возникла из глубины комнаты.

«Отец!» — как во сне, сообразил Костя.

Обе тени слились воедино. Отец, наверное, взял маму за плечи, прижал к себе, успокаивая. И снова тени распались. Стул у отца так и застыла на месте. А мамина металась из стороны в сторону.

Костя не выдержал, вскочил с лавки и выбежал из беседки.

Свет горел в кухонном окне Мариной квартиры.

Он вошел, как к себе домой, без звонка, и даже не сразу обратил внимание на то, что дверь была не заперта. Не разуваясь, Костя прошел на кухню. Марина ждала его, одетая на выход, сидя на табуретке. А может быть, она уже выходила за ним, может быть, видела, как корчился он в слезах на лавочке в беседке?..

«Пусть! Пусть!..» — беспощадно к себе заключил Костя и сел напротив Марины.

— Иди спать, — устало велела она, вставая.

12

С Вадимом Леонидовичем они познакомились случайно.

Месяц назад Костя сидел на скамейке в небольшом скверике, в котором после освобождения города от немцев были захоронены погибшие в бою танкисты. Костя испытывал новый объектив, купленный ему отцом. Объектив все приближал, как бинокль. И Костя наводил его на голубей, семенящих друг за другом, на шершавую броню зеленого танка Т-34 на постаменте, на Вечный огонь — бледный, синевато-рыжий при свете солнца лоскуток газового пламени над сияющей золотом пятиконечной звездой, на часового-школьника с настоящим автоматом в руках, на подъезжающие разукрашенные лентами и шарами свадебные машины, на женихов и невест, на их молодые лица с неизменным выражением растерянной радости, на цветы в их руках, которые они несли и складывали рядком вдоль гранитного парапета памятника. Костя не фотографировал, а лишь примерялся, лишь разузнавал возможности нового объектива, переводил фокус, закрывал и открывал лепестки диафрагмы. До этого на его фотоаппарате стоял один и тот же, нормальный объектив с фокусным расстоянием пятьдесят миллиметров. Через него мир выглядел таким, каким и был на самом деле. Новый же объектив сначала даже ошеломил Костю. И с одной стороны, им хотелось снимать все, что ни

попадет в поле зрения, но с другой — Костя робел перед ним, будто боялся опозориться в чьих-то глазах. Поэтому он и не торопился нажимать на кнопку.

Рядом с ним сел на скамейку сердитый мужчина с тонкой стальной тростью в руке. Мужчина был еще совсем не старый, и трость казалась у него лишней.

— Давно фотографируешь? — неожиданно спросил мужчина. Голос его был тихий и добрый, но достаточно твердый для того, чтобы Костя не заподозрил праздного любопытства.

— Я учусь, — признался Костя.

— Почему ты выбрал этот объектив? — придвинулся мужчина. Костя разглядел, что вовсе он не был сердитым. Просто взгляд у мужчины был умным и пронизательным, а это Косте раньше случалось путать с сердитостью.

— А я не выбирал, — сказал Костя. — Отец купил.

Мужчина взял у него фотоаппарат, ловко повертел в руках, заглянул в визир и вернул Косте.

— Телеобъектив, — сказал он. — Должен хорошо рисовать и по центру, и по краям. «Юпитеры» вообще славятся жестким рисунком...

Костя посмотрел на объектив со стороны передней линзы, прочел название — «Юпитер-П». Вряд ли мужчина успел разглядеть название, да он, кажется, и не поворачивал фотоаппарат задом наперед. Значит, заранее знал. Это Костю заинтересовало. Он давно мечтал познакомиться с человеком, разбирающимся в фотографии лучше его. А то в школе никто ничего толком не знал — лишь заставляли Костю фотографировать для стенгазеты субботники и спортивные состязания, отличников и отстающих. Скудная была работа. Их завуч, который ведал школьной стенной печатью, все равно было, как и что снимает там Костя. Завуч предъявлял свои требования: «Главное, чтобы все было резко! Лица чтоб можно было разобрать! Резко и видно!..» Костя так и делал: резко и видно, и больше ничего, потому что завуч всякий раз добавлял: «И никаких мне штучек-дрючек! Без формализмов мне!»

Были у Кости еще одни судьи и ценители его снимков — родители. Но что они? Отцу все безоговорочно нравилось. Костя подозревал, что в детстве отец мечтал научиться фотографировать, но такой возможности не представилось. И теперь, когда сын осуществил его мечту, отец умилялся любой карточке. Мама считала Костины занятия фотографией баловством и терпела его как неизбежное зло. Так что ее оценки тоже были предвзятыми. Костя ждал настоящего ценителя.

— Вы фотографируете? — спросил он мужчину, чувствуя, что долгожданный ценитель, кажется, найден, и боясь уже разочароваться в нем, ошибиться.

— Раньше, — сказал мужчина и откинулся на спинку скамьи. — Сейчас разве только слайды делаю. А так учу фотографировать ребят. Во Дворце пионеров. Хочешь к нам ходить?

Конечно, Костя хотел! У него даже дух захватило.

— Может, я вам не подойду? — сбивчиво заговорил он. — Я, вы знаете, носил свои снимки в редакцию молодежной газеты. Сказали, что такие не нужны...

— Свет клином сошелся на этой редакции?! — возмущенно спросил мужчина, ткнув тростью асфальт. — Это Гриша, что ли? Бородатый? Рыжий?..

Костя кивнул.

— Халтурщик он! — заявил мужчина. — Забудь про него. Давай знакомиться. Вадим Леонидыч.

Костя пожал его руку и представился.

— Приходи, Костя.

Он прибежал во Дворец пионеров на следующий же день, принес свои лучшие снимки. Вадиму Леонидовичу понравились «Пацаны» и «Весна». Портрет Марины он забраковал, сказав при этом:

— Знаешь, что по этому снимку можно сказать об авторе? Увидел красивую девочку, этакую смазливенькую... Увидел и обалдел. И изуродовал ее, сняв зачем-то с нижней точки. Посмотри сам, какая челюсть у нее получилась. Как у боксера!

13

Опять Костя никак не мог взлететь. Зеленая трава опутала ноги, и было паническое ощущение страха в душе. Будто что-то такое надвигалось, какая-то опасность, и надо было бежать, скорее отрываться от земли, от этой цепкой хищной травы, лететь надо было, спастись.

Потом вдруг все исчезло, все, кроме тревоги, кроме ледящей жути в душе. И перед глазами возникло лицо Марины, улыбающееся и какое-то коварное лицо. Оно было так близко, что хотелось отстраниться от него. «Она смеется... Смеется надо мной!» — пронеслось у него в мозгу. Но смеха слышно не было, и Костя решил, что Марина замыслила что-то против него и он сейчас попадется, попадется... И, защищаясь, Костя вскинул фотоаппарат... Откуда он взялся? Неважно! Теперь главным было успеть снять Марину. Тогда он спасен. Никак не наводилась резкость. Лицо Марины стало размытым розовым пятном. Костя с остервенением крутил тугое кольцо оправы объектива, но резкости не было, не было...

— Сфотографируешь меня? — вдруг спросило пятно Мариныным голосом и засмеялось.

Это был ее голос и ее смех. Почему же не наводилась резкость? Может быть, потому, что лицо было слишком близко?

Костя попробовал отстраниться, но что-то держало его, не отпускало. Наверное, это была трава...

«Сфотографируешь... ируешь... меня... а-а-а...» — эхом отдались ее слова.

— Где-нибудь на природе... Среди осенних листьев...

Марина улыбалась, стоя над Костей и загораживая солнце, бьющее в окно. И это, кажется, был уже не сон. Появилась резкость. Только в руках не было фотоаппарата...

«Смеется... Надо мной смеется... Она видела, как я вчера плакал!» — с ужасом вспомнил Костя и отвернулся к стене.

— Не спи! И так весь день прошел. Вечер уже! — прикрикнула Марина, и ему показалось, что за напускной веселостью она скрывает презрение к нему. Не могла же она так открыто над ним смеяться. — Одевайся! — велела она и вышла.

Костя сел на диване, пытаясь решить для себя, уходить ли от Марины сразу или дожидаться, пока она обидит его и в конце концов сама прогонит. Да и какая теперь разница? Все и так кончено между ними...

Он вспомнил, как вчера в кухне посмотрела на него Марина. Разве так смотрят на человека, за которого хотят выйти замуж? Да и далось ей это «замуж»! Вчера Марине было больно за него. Нет-нет! Если бы за него, она не смотрела бы так зло, так устало и зло! Ей было больно от того, что он, Костя, навязался на ее голову. И теперь, наверное, она не знает, как от него избавиться.

«Дети, кухня, мебель, муж...» А он плакал! Зачем ей такой муж?

Костя оделся, вышел в коридор и стал обуваться.

— Далекое это ты? — выглянула Марина из кухни.

Он посмотрел мимо нее, туда, где висел на гвозде его фотоаппарат.

— Даже не сфотографируешь меня? — как ему показалось, вымученно улыбнулась Марина.

— Прости, — пролепетал он, чувствуя, что не может больше взглянуть ей в глаза.

— Иди домой, Костенька, — сказала Марина. — К мамочке с папочкой... Какой ты еще маленький, ей-богу!

14

И Костя пошел, только не домой, а так куда-то, куда глаза глядели. В животе было пусто и урчало. Деньги он забыл у Марины. Она, наверное, вынула все из карманов, когда зашивала его курточку, а назад забыла положить. Не было и ключей от дома. Но возвращаться нельзя было. Что она подумает? Марина и так о нем бог знает что думает теперь, наверное.

В сквере Гуртьева, напротив областной библиотеки, Костя сел на запыленную листьями скамейку. Голова гудела, и мысли как-то тяжело и неуклюже ворочались в ней, одна угрюмее другой. Вот и открытие его, что оно дало? Что толку, что он узнал о чужой боли? Как хорошо, должно быть, всю жизнь прожить для себя, не мучиться за других, знать только свое и о себе!.. И пропади все пропадом! Жил ведь он так раньше. Но потому оно и открытие, наверное, что, узнав однажды, он, Костя Листопадов, обречен теперь всю жизнь свою жить с ним в сердце.

Но как, как вернуться ему? Что сказать? Как посмотреть маме в глаза? Отцу?.. А ведь всего ничего: войти во двор, подняться на третий этаж, позвонить в дверь... Как? Костя вспомнил Никитича из тира. Может, к нему податься? Он добрый, Никитич. Сказать ему все как есть: так, мол, и так... Стыдно, мол, возвращаться. Никитич... Очень ему надо!.. Костя окончательно продрог. Вечерело. Фонари не зажигали еще, и дома смотрели из синих сумерек желтыми глазами окон. А Вадим Леонидович? Что же он опять забыл о нем?

Костя поднялся со скамейки и бросился бегом ко Дворцу пионеров, но, спохватившись, вспомнив, что по воскресеньям в фотосекции вечерних занятий не было, пошел к Вадиму Леонидовичу домой.

«Горячо, горячо... Холодно... — шептал он в такт шагам вчерашнюю свою считалку. — Какой ты еще маленький! Горячо, горячо...»

Он должен его понять, Вадим Леонидович, понять, простить и помочь. Потому что если не он, то кто же? Никого не оставалось больше. А так не бывает, не бывает!..

«Горячо, горячо, горячо...»

Он вспомнил, как Вадим Леонидович рассказывал ему о жизни своей горемычной, о том, как работал раньше кинооператором на студии в Ленинграде, как разбился потом на самолете в Антарктиде, как не знал, выживет или нет, как трудно было распрощаться с любимой профессией...

«Он поможет, он поймет!..» — убеждал сам себя Костя по дороге и уже представлял, как выйдут они с Вадимом Леонидовичем в ночные улицы, как будет позванивать об асфальт стальная трость, как войдут они во двор, поднимутся по лестнице на третий этаж, как позвонят в квартиру и дверь откроет мама — обязательно она! — и как он, Костя, посмотрит маме в глаза и скажет наконец: «Прости!»

Он забежал в подъезд, вызвал лифт и долго, как ему показалось от волнения, очень долго ехал в полутемной глухой кабине на последний этаж. Двери лифта раздвинулись, напряженно урча. Костя позвонил в квартиру.

— Не заперто! — услышал он знакомый голос Вадима Леонидовича.

Костя позвонил еще, почему-то не решаясь так вот просто войти и сказать... Вадим Леонидович сам отворил перед ним дверь и отступил на шаг в удивлении.

— Ты? — только и смог вымолвить он.

Костя собрался с духом и выпалил давно заготовленную фразу:

— Отведите меня домой, пожалуйста!